

А. В. ДРУЖИНИН

ПОВЕСТИ
ДНЕВНИК

Александр Васильевич Дружинин

Полинька Сакс

Юная жена важного петербургского чиновника сама не заметила, как увлеклась блестящим офицером. Влюбленные были так неосторожны, что позволили мужу разгадать тайну их сердец...

В высшем свете Российской империи 1847 года любовный треугольник не имеет выхода?

Содержание

#1	0006
ПРОЛОГ В ДВУХ ПИСЬМАХ	0007
I От Конст. Ал. Сакса к Павлу Александровичу Залешину	0007
II От Полины Александровны Сакс к m-me Annette Красинской	0020
ДВА ПИСЬМА ВМЕСТО ПЕРВОЙ ГЛАВЫ	0029
I От Павла Александровича Залешина к Константину Александровичу Саксу	0029
II От m-me Annette Красинской к Полинъке Сакс	0041
ГЛАВА II	0050
ГЛАВА III	0066
ГЛАВА IV	0074
I От кн. А. Н. Галицкого к ст. советнику Писаренко	0074
II От кн. А. Н. Галицкого к m-me А. Красинской	0078
ГЛАВА V	0090
I От Полинъки Сакс к m-me Красинской	0090
II От Константина Александровича Сакса к Полинъке	0095
ГЛАВА VI	0109
ГЛАВА VII	0114
#1	0114

ГЛАВА VIII	0125
I От Полинъки Сакс к т-ме А. Красинской	0125
II От князя А. Н. Галицкого к т-ме Ап. Красинской (Через неделю после последнего письма)	0131
III От К. А. Сакса к П. А. Залешину	0141
ГЛАВА IX	0143
I От княгини П. А. Галицкой к т-ме Ап. Красинской	0143
II От княгини П. А. Галицкой к т-ме Ап. Красинской	0146
ПРИМЕЧАНИЯ	0156

А. В. Дружинин
Полинька Сакс

Повесть

ПРОЛОГ В ДВУХ ПИСЬМАХ

I

От Конст. Ал. Сакса к Павлу Александровичу Залешину

Давно нет от тебя писем, почтенный пан-тагрюэлист[1]; стоило бы воздать тебе по заслугам, то есть самому ничего не писать, да в этом случае вся невыгода упадет на мою сторону. Пусть получу я крест, пусть выгонят меня из службы, ты все это проведешь из газет. Умри я, и об этом, может быть, напишут. Конечно, там не буду я описан «сановником, оплакиваемым подчиненными», даже до «всеми уважаемого мужа» остается мне служить лет пять, а все-таки узнаешь ты, что такой-то Сакс, чиновник особых поручений, исключается из списков такого-то министерства.

А о тебе без твоих писем я ничего знать не буду. Ты богатый помещик, бьешь собак, по выражению наших стариков, в губернии слышь отцом своих крестьян, да кто же из вас

не отец крестьянам? Давай же, стало быть, подейтельнее переписываться.

Кроме всего этого, я сегодня так расположен к откровенности, что положил перед собою лист бумаги, и не подумавши о плане письма. С кем поболтать мне?.. Жена спит, как дитя, подложив ручонки под голову, а я не могу еще спать, благодаря проклятой привычке ночью работать... И сверх того, на душе не совсем весело.

А между тем день и начался и кончился счастливо. Поутру разделался я со следствием, которое на меня взвалили по службе, и кончил его так, что не один богатый синьор почешет у себя в затылке. Без гнева и пристрастия — *sine ira et studio* — я вывел на свет божий все проделки известного тебе комитета и открыто вызвал на бой дельцов, не отвыкших еще от идеи, что за казну, как за общую собственность, не след вступаться какому-нибудь выскочке. Министр несколько раз прочитывал мой доклад, соглашался с моими доводами и сегодня окончательно благодарил меня. Я воротился домой не без радостного волнения; мысль, что труд мой не прошел да-

ром, дала мне порядочную дозу самодовольствия.

Полинька была хороша, как ангел, весела, как птичка, — все это в порядке вещей. Меня порадовало то, что я застал ее за роялем, а сильный ее *mezzo soprano* звенел в моих ушах, когда я был еще на лестнице. Ты знаешь, до какой варварской степени наши дамы и девицы равнодушны к музыке: а моя жена, с горестью признаюсь, хуже всех их на этот счет. Она явно зевает в опере, дома же любит играть польки и галопы. Одна проклятая *Sperl-Polka* [2] испортила у меня бездну крови.

На этот раз, однако, она пела знаменитый романс Дездемоны[3]. Много минут из детства и молодости припомнил мне этот гениальный романс. Благодарю судьбу за восприимчивость и память моей души: довольно я пожил и пострадал и позлился на своем веку, а между тем ни одна светлая минута не забыта мною, ни одно ясное чувство не утратило надо мною своей силы.

Я не скрывал своего удовольствия: свежий и сильный голос Полиньки волновал всю

мою внутренность. Я думал почти так; из слабой души не может литься такое энергичское пение; а если есть душа, то мы до нее доберемся.

Со всем тем Полинкина манера пения далеко не удовлетворяла музыкальным условиям. Она пела грустный романс «Assisa al pie d'un salice» [4] так же бойко и живо, как дозволяется только петь «Черный цвет» или «Jeune fille aux yeux noirs» [5]. Она даже прихотливо варьировала окончание каждого куплета, тогда как в однообразии окончания, в одном и том же меланхолическом припеве романса заключалось что-то, говорящее про одну и ту же мысль, неотступную, раздирающую душу.

Я догадался, что смысл романса ей непонятен и что вряд ли она слышала где-нибудь про историю Дездемоны. Оперу у нас еще только собираются ставить, Шекспира мы еще не читаем.

Потому-то, когда она кончила, я посадил ее подле себя, шутя дал ей заметить ошибки в ее пении и, наконец, рассказал ей по-своему историю Отелло и его жены. Она выслушала меня с удовольствием и тут же назвала меня

именем венецианского мавра. Было ли это подозрение в ревности или намек на мои рассказы, я решительно не знаю.

Смейся, смейся над нашею ученою болтовнёю. На письме оно плохо, а на деле я не знаю высшего наслаждения, как следить за мыслями дорогого нам ребенка, ставить его в уровень с нами и с веком, передавать ему в доступном виде все то, что казалось нам и глубоким и поэтическим, — потому что, я должен тебе признаться, я влюблен в мою жену, влюблен, как ребенок, как старик, как сумасшедший. Сама судьба берегла меня для этой страсти: благодаря болезненному, раннему развитию моих сил первая любовь захватила меня в ребяческом возрасте. Мне было тогда двенадцать лет, — что это была за страсть? А она долго во мне ворочалась, мучительно умирала, и вот почему во всю мою молодость, испытавши все на свете, я не испытал настоящей любви к женщине.

Весь остаток дня Полинька волочилась за мною, прыгала вокруг меня, как котенок, показывала мне свое хозяйство, которое имеет только то неудобство, что стоит вдесятеро до-

роже всякого другого. Она пересказывала мне свое беспокойство, когда я работал в канцелярии, и по этому случаю высказала довольно оригинальное мнение о моих занятиях. По ее соображениям, мы, запершись по комнатам, пишем всякую дрянь по своему выбору, но не в содержании дело: начальство смотрит наши труды и награждает тех, у кого работа красивее написана. Можешь представить себе, как боялась Полинька за меня, *qui écrit toujours en pattes de mouches* [6].

Конечно, она сама смеялась, рассказывая эти вздоры, со всем тем наивность эта мне не по мысли. Я думал сначала объяснить ей кое-что, однако оставил служебные тайны до другого разу. К вечеру я сам сделался ребенком и чуть не играл с ней в куклы. Она отказалась ехать в театр и к тетке, и вечер наш представлял сладчайший идеал семейного счастья, которому не только бы позавидовали здешние ротозей-моралисты, но в котором и ты даже не нашел бы пищи своему сатирическому уму.

По обыкновению я не ложился спать, и пока Полинька засыпала, я сидел на постели,

нагнувшись к ее личику, на которое, вероятно, никогда не насмотрюсь вдоволь. Оно было так очаровательно в те минуты, когда, под влиянием сна, органы его переставали принимать впечатления от окружающих предметов. Я смотрел, смотрел и досмотрелся до того, что тягостные мысли начали бродить в моей голове.

Отличительная черта Полинькиной красоты — это ее детская миловидность. Верхняя ее губка далеко отстает от нижней: красота ребяческая, а не женская. Вся нижняя часть лица ее так кругла, что на ней не видно ни одной ямочки. Это удивительно идет к Полиньке: но, по моему мнению, женщина в девятнадцать лет могла б обойтись без этого достоинства.

Так, признаки эти согласовались с характером Полиньки... или нет, не с ее характером, а с следами воспитания, которое дали ей примерные родители ее... чтоб их нелегкая побрала! И еще родители не так виноваты, как общество, которое требованиями своими заставило обращать женщин в ребятишек.

Я припомнил жизнь жены моей в девуш-

ках: она славилась своею невинностью, иначе наивностью, иначе... Я помню очень хорошо кучу приятелей, которые таяли от восторга при ее шалостях, при ее институтских *bons mots*! [7] И глупая молодежь шептала: «Чудный ребенок! Что за ангел!», не думая того, что нам нужны женщины, а не ангелы. И с какою гордостью старик отец отпустил мне в день свадьбы стереотипную эту фразу: «Берегите мою Полиньку, — она такое дитя!»

Неужели же никогда не приходило вам в голову, почтенный папенька, что для человека, который потаскался по свету, бывал на коне и под конем, давно распротился с пастушескими помышлениями, название дитяти не есть еще почетный титул?

Невинность, дитя, пансионерка! Все эти слова имеют большой вес между поклонниками женщин, да легче ли мне от этого? И вот уже год, как я стараюсь приготовить милого и дельного помощника измученной моей душе, которая, без шуток, так нуждается в дружбе, в истинной веселости... в потребности болтать от чистого сердца.

И вот уже год, как я бьюсь изо всех сил,

чтоб оживить эту миленькую статуэтку! Усилия мои далеки, очень далеки от успеха...

Первою моею заботою поставил я потребность образовать эстетический вкус Полиньки. Я окружил ее предметами искусства, рука ее не коснулась ни до одной вещи, которая бы не была в полной мере изящна. И что же? Редкие мои картины стоят в пыли, цветы сохнут от беззаботности, уборка комнат, над которою я так ломал свою голову, не то что нравится ей, не то чтобы не по вкусу...

Напрасно старался я приохотить ее к музыке: садиться за рояль для нее наказание; несмотря на прекрасный свой голос, она стыдится петь при других и даже при мне. Поет ли она, когда бывает одна, этого я не знаю, а при мне она сегодня в первый раз сыграла серьезную музыкальную пьесу...

Чего же ожидать от чтения? Я, признаюсь, столько видел зла от страсти к книгам, что боюсь даже налегать на этот предмет. Пробовал, однако, я давать ей первые романы Жоржа Санда[8]: я был вполне убежден, что женщине будет доступен гений женщины. Вышло совсем напротив: она зевала, зевала и —

бросила книги с отвращением.

Практическая жизнь для нее и чужда и непонятна. В свете ей кажутся странными именно те вещи, которые приближаются к здравому смыслу. Она и знать не хочет, в чем состоит служба ее мужа и зачем бы ему так часто по ночам запирались у себя в кабинете...

Я вижу однако, что я разболтался и порядочно проболтался: пусть будет так; без нужды скрывать дела свои так же глупо, как и трезвонить о них встречному и поперечному. Да и церемониться мне с тобою нечего: недаром мы с тобою вместе учились, вместе шатались по свету и вместе дрались на Кавказе. Конечно, дела эти случались не совсем в свое время: сначала мы пошатались, потом поучились и для увенчания философских теорий отправились истреблять род человеческий.

Все-таки мы приятели, хотя давно уж разошлись в разные стороны. Ты удалился в свою Аркадию и успокоился, *moüennant un peu de rantagrueisme* [9], от бурь и треволнений светских, а я влюбился, женился и ясно увидел, что приходится начинать мой роман с

первой страницы.

Письмо это навело на меня много грустных размышлений, а потом экзальтировало меня, как восемнадцатилетнего мальчика. Я захотел еще посмотреть на Полиньку, чтобы рассеять мою мысль, и потому перервал мое письмо и подошел к ней. Она спала, раскинувшись по-детски, с таким же ангельски бесстрастным выражением лица. Мне хотелось поцеловать ее; боясь помешать ее сну, я чуть-чуть прикоснулся к ней губами. Сердце ее билось так неровно, то тише, то скорее, как будто рассказывало о чем-то с большим увлечением... И я долго, нагнувшись, прислушивался к его стуку...

В эти сладкие минуты я не жил, а бредил наяву. Мне казалось, что это неутомонное сердце пересказывает мне всю жизнь моей Поли: как ее отгоняли в детстве от упражнений, способных укрепить душу и тело, как набивали ей голову всяким вздором и в довершение всего заперли в тесный дом, наполненный подругами и наставницами. Это сердце рассказывало мне, как ему мерещилось по временам чистое поле, и лес с верхушками,

колыхавшимися без ветра, и солнце, которое играло и дробилось на гладком озере... Много подобных вещей было мне рассказано, только я щажу твое терпение, потому что ты не женат, не влюблен, да и, верно, более не влюбишься.

Однако воображения твоего хватит настолько, чтобы понять чувство, загоревшееся во мне после всех этих рассказов. Не оставляя сладкого моего положения, я возобновил мою клятву воспитать Полиньку по-своему, хотя бы для этого потребовалось рассориться вконец с обществом. Я поклялся развить ее способности вполне, сообщить ее мыслям независимость и настоящий взгляд на общество и вывести ее таким образом из ряда хорошеньких, но пустых женщин. Я поклялся укрепить ее душевные силы, направить их ко всему доброму и разогнать облако сентиментальной, бессмысленной невинности, которое давит бедного моего ребенка...

Я чувствую, что я виноват перед Полинькою: в эти полтора года я не сделал из нее всего того, чего мне хотелось, и не сделал именно потому, что подчас сам с нею ребячился,

увлекался ее милыми недостатками. В эти полтора года она могла бы сделаться женщиной: в этом убеждают меня и ее легкая насмешливость, и маленькая вспыльчивость, и привычка при споре кусать нижнюю свою губу. Все это признаки характера.

Я не сделал всего того, что мог. Дай бог, чтоб не пришлось дорого поплатиться за минуту глупого нежничанья!

Скоро ли кончу я мой труд? Скоро ли пройдет надобность воспитывать Полиньку? Если желание мое исполнится, как буду я счастлив! С какой беззаботностью выйду я с нею рука об руку навстречу жизни со всею ее дурною и хорошею стороною, и ты посмотришь, как будет умна, бодра и весела крошечная моя Полинька!

От Полины Александровны Сакс к тебе Annette Красинской

Самый счастливый день из моей жизни был тот, когда я получила твое письмо, ma toute belle, mon incomparable Annette [10]. Я вообразила себя в нашей белой зале, в нашем пансионе, который мы так бранили и в котором, право, было превесело.

Маменька доставила мне твое письмо очень верно; ты можешь быть уверена, что кроме меня его никто не читал. Так ты оттого так долго не писала, что не знала, где я живу? В конце письма ты найдешь мой адрес [11].

А я было думала, что ты начала ненавидеть меня за то, что я не вышла за твоего брата? Душенька моя, подумай только о том, что папа спал и видел отдать меня за Сакса. Все родные были против этого брака, звали моего бедного Костю чудачком, вольнодумцем и бог знает какими словами, — папа и слышать ничего не хотел. Да и я, признаюсь тебе, шла за него охотно, хотя перед сватовством очень

презирала его за злые речи о нашем пансионе... К тому же брат твой уехал лечиться... видно, уж так богу было угодно, Annette.

Ты пишешь, что муж мой и стар и дурен. Ты сама, mon ange [12], два года тому не то говорила. Такого благородного и смелого лица, как у Сакса, нигде не увидишь. Он плешив немножко, да я уговорю его носить парик. А лет ему тридцать два, да и то еще будет в мае.

Потом ты пишешь, зачем он не военный? «Vous etes arrieree, mon enfant, — сказал бы мой муж: — il faut etre de son temps» [13]. Нынче статских любят. Да кроме того, Костя был в военной — и был в сражениях даже.

И я не жалею, что вышла за него: весь этот год я была так счастлива, что ни минуты не скучала. Случалось, что мы сживали долгие вечера совсем одни — и мне было веселее, чем на бале. Чего только не видел Сакс и где он не бывал? Когда его слушаешь, кажется, будто сама едешь по чужим землям или смотришь на такие дела, что и уму не придумать. Живем мы богато, только больших собраний не бывает у нас. Всех знакомых разделил Сакс по кучкам: если обедают у нас, на-

пример, мои родные, то своих знакомых он не зовет. За это сердится очень маменька. А его знакомые всё живописцы, музыканты и молодые чиновники.

Не рассердись на меня, mon ange, за то, что я защищаю моего Костю. За него некому заступиться, не много кто его любит, а больше всё зовут чудаком, иные даже боятся. Папа как-то говорил, что Сакс человек беспокойный и что из-за него много почтенных людей вышло из службы. Я этого понять не могу: надо видеть, какой он добрый и тихий у себя дома. Он преуморительно всегда раскланивается с моими горничными, и раз я застала, что он сам доставал себе платье, потому что человек его ушел обедать. Я его пожурила немного.

Еще говорят, что он давно дрался с кем-то на дуэли; я боялась расспрашивать об этом, — уж не наделал ли он беды какой! Что, если он только притворяется добреньким?

Другим чудесам его счету нет. Раз истратил он кучу денег и накупил мне в подарок картин, совсем полинявших. И что за картины! Какие-то коровы или разбойники между

горами. И еще купил статуи такие, что стыдно в комнату поставить. Над кроватью моей повесил старый портрет прехорошенькой женщины и говорит, что это святая Цецилия [14]. Откуда взял он такую святую, бог его знает.

С моими родными он очень вежлив, однако их не любит и неохотно сходитя с ними. Я недавно говорила с ним на этот счет: он долго молчал, потом хотел переменить разговор. Чтобы поспорить с ним, я опять заговорила о маменьке и о папа.

— Я им обязана за многое, — сказала я между прочим.

— А я за одно только, — заметил он.

— За что же?

— За то, что не успели еще совсем тебя испортить.

О! Он мастер говорить такие комплименты. Подруг моих тоже не любит, тебя называет скандальной дамой. Это за то тебе, что ты, вышедши замуж, поминутно с нами шепталась.

Часто думаю я: любит ли кого-нибудь этот человек? Ни до свадьбы, ни после не сказал

он мне открыто, что он хоть сколько-нибудь в меня влюблен. «Любовь моя не на словах, а в жизни», — говаривал он несколько раз. Чтоб он стал целовать мои руки, чтоб он становился на колени! *fi donc!* [15] от этого изменится рубашка на груди, запачкается платье. Является он ко мне не иначе, как во фраке или сюртуке, — *tire a quatre epingles* [16],- верх дерзости, если он осмелится надеть летнее пальто вместо фрака!

Если не пишет, то читает всю ночь до рассвета, и папа говорил, что книги его все такие вредные... Я боялась за его здоровье и раз пришла к нему ночью в кабинет. Около него валялись какие-то змеи, скелеты, каменья... книгам и счету не было. Он посадил меня на мягкую ручку своих кресел и рассказал мне историю некоторых своих книг и вещиц, что лежали на столе... Этого человека и глухой заслушивается.

Я сама захотела читать, и поутру он принес мне романы Жоржа Санда, о котором, помнишь, с таким ужасом говорила твоя кухня. Костя сказал мне при этом, что Жорж Санд не мужчина, а женщина и что поэтому я

скорее пойму и полюблю ее сочинения. Ах, mon ange, если это точно женщина, так прес-бесстыдная и прескучная. В одном ее романе мужчина пробирается в спальню молодой девушки и стоит всю ночь у ее постели! В тех книжках, что ты возила в пансион, бывали такие же случаи, да там оно так забавно, что знаешь — дурно, а смеешься. А эти книги так скучны, что я бросила на другой день.

А что за холодный человек этот Костя! Раз он довел меня до слез. Я как-то неловко тронула его пальцем, он вздрогнул весь.

— А! Ты ревнивый! — сказала я шутя.

— Да и какой еще ревнивый! — отвечал Костя.

— Скажи же мне, что б ты сделал, если б я тебе изменила?

— Э! Кто нынче изменяет!

— Ну, если бы?

— Как бы изменила? Из прихоти?

— Из прихоти! Разве нельзя представить, что я влюбилась бы в кого-нибудь из твоих приятелей?

— Очень бы влюбилась?

— Да, на всю жизнь, навек, без ума и без

памяти.

Глаза его сверкнули так страшно, что я было струсил.

— На что же мне жена без ума и без памяти? Я бы поцеловал тебя и уехал куда-нибудь подальше.

— Ну, а ему-то что же?

— Он-то чем виноват?

Я заплакала, как ребенок: такая холодность хоть кого взбесит. Насилу Костя мог меня успокоить. За что же мог бы он драться на дуэли?

Денег мой муж тратит кучу и вовсе не заботится о своих доходах. В имении, которое дали за мною, сделал он такие перемены, что получать с него мы будем вдвое меньше, чем оно прежде приносило. Папа уж добр, а за это рассердился. «Без нужды уменьшать оброк, — говорил он мужу, — значит давать вредный пример соседним мужикам, уничтожать весь страх и повиновение». А Костя только смеется и слушать ничего не хочет.

Лакомка он страшный, и один стол бог знает во что обходится. Меня уговаривает более есть, наливает мне полную рюмку вина и го-

ворит, что обед его повкуснее мелу и угольев... все это опять на наш счет, душа моя. Сказать ли тебе, Annette?.. Да ты меня выбранишь... Когда он бывает особенно весел, он приказывает вечером подать маленькую бутылочку шампанского, и мы с ним пьем, пьем, mon ange, пока всю бутылку выпьем! С таким чудачком сама за чудеса примешься...

Я бы не писала тебе всего этого, mon cher petit ange [17], если б я думала, что муж мой всегда таким останется, как теперь. Давно я стараюсь переменить его и раздумываю, как бы сделать его похожим на всех людей. Когда я выходила замуж, мама говорила мне: «Помни, Поля, что умная женщина может все сделать из своего мужа». И сам Костя не раз говорил: «Хорошенькая женщина может совсем переделать мужчину».

Мама и теперь по временам дает мне все нужные советы, и кажется мне, что Костя теперь не так уже чудит, как на первых порах. Надеюсь, что к твоему приезду он оттанцует польку с тобою и нашими bonnes amies [18], бросит свои вздорные книги и... вот, кажется, дрожки его въехали в ворота.

Прощай, ангел мой, та bien-aimee [19].
Письма не показывай никому... что, если ко-
му вздумается дорогой его распечатать?..

ДВА ПИСЬМА ВМЕСТО ПЕРВОЙ ГЛАВЫ

I

*От Павла Александровича Залешина
к Константину Александровичу
Саксу*

Здравствуй, добрый мой Сакс, милый мой Jeune premier [20]. Дела твои идут хорошо: по ночам мы посиживаем у постели молодой жены? На старости-таки довелось тебе влюбиться, — потому что как ты себе хочешь, а молодым я тебя называть не стану. Мы с тобой старые петухи, даром что нам недавно перевалилось за тридцать; дело в том, что мы в былое время захватили жизни вперед, как забирали в былое же время у казначея третное жалованье[21].

И что ж кому за дело? Люби себе, дружнице; я уважаю людей влюбленных; а коли тут еще и законный брак, то я им завидую. Человек женился — и счастлив хоть на год, хоть на месяц, хоть на неделю, а счастлив вполне;

и поэтому женитьба преумное изобретение.

Не прими в дурную сторону легкого моего тона насчет гименя и его таинств. Если б мне было лет двадцать с небольшим, я бы не упустил случая выбрать тебя, осыпать пошлейшими сарказмами семейную жизнь вообще, потому что страсть ругать все на свете и надо всем смеяться есть вернейший признак великой молодости. А для меня давно прошло то время, когда я тешился своим юмором и восхищался собственными своими мизантропическими выходками.

Я уверен, что жена твоя есть не что иное, как крошечный, миленький, умненький ангел.

Frisant un peu le diable par sa malignite [22].

У тебя искони веков был чудесный вкус; ты этим славился. «Сакс похвалил эту вещь», — говорили все, и суждения прекращались. В таком уважении был твой вкус между прочими смертными. Да сверх того в достоинствах твоей Полиньки убеждает меня еще одно обстоятельство.

Недавно приехал сюда из чужих краев князь Галицкий. Чей он адъютант, не помню, чином же штаб-ротмистр. Остановился он в имени своей сестры, соседки моей по имени, женщины... ну, о ней да позволено будет умолчать. Сестра эта воспитывалась в одном заведении с твоею женою и все ладила, чтоб выдали ее за этого Галицкого. Тот был так уверен в успехе, что, не объяснившись ни с родителями Полинки, ни с нею, уехал себе пить зельтерскую воду, которую *au prix modere* [23] продают и в Петербурге. Пивши воду, он прогулял невесту. Вся эта незатейливая история, верно, известна и тебе.

Говорят, что надобно было видеть отчаяние князя, которому, как кажется, все в жизни постоянно удавалось. Прибрежные скалы и уединенные леса наполнялись нежными именами, которыми заочно награждал он твою жену, и страшными ругательствами на сестру и на тебя. Он сделался болен чем-то вроде *mania furibunda* [24]. Однако потом он утих, сошелся с сестрою, познакомился с ее соседями и между прочими со мною. Перед отъездом в Петербург он вызвался доставить

тебе мое письмо.

Я рассудил, что прятаться тебе от него не следует, к тому же вы знакомы, будете встречаться в свете, — стало быть, можно исполнить его желание. Вот почему это письмо передаст тебе князь Галицкий, первый полькер и вальсер в русском царстве.

Я тебя знаю, почтенный приятель. Прочитавши все это, ты усмехнешься, пожалуй покажешь мое письмо жене и подумаешь про себя: «Адъютантик! Князек! Полькер? *Пхе, пучзат!*[25], как говорят горцы». Нет, добрый мой Сакс, Галицкий не пхе, а человек довольно опасный, потому, что он горд, как дьявол, и что рано заслуженный, блестящий успех в свете выдвинул его из ряду обыкновенных людей.

Отними у любого знаменитого писателя его славу: думаешь, что его новые произведения будут так же хороши, как прежние? Припомни по этому случаю собственное твое изречение лет десять тому назад: «Дайте мне славы в кредит — и я сделаюсь отличным писателем».

Отними у какого-нибудь государственного

человека его *prestigium* [26]: ты думаешь, что труд его будет так же смел, и легок, и скор?

Галицкий родился пустым человеком, учился же и мало и плохо. А теперь дают ему трудные поручения, и он выполняет их на славу. За границей женщины умнее наших, а расспроси-ка, каких чудес он там наделал! Повторяю тебе: гордость и слава дали ему ум таким же путем, как ум твой доставил тебе и почет и богатство. К тому же Галицкий молод и на лицо прехорошенький мальчик.

Мне, признаюсь, он понравился, как человек до невероятности разнообразный в своих удовольствиях. Достоинство это дает ему перевес над светскою молодежью, которая за порогом бальной залы и за рубежом каменно-островских дач[27] решительно не знает, что из себя делать.

Убеждений у Галицкого нет никаких или их так много, что сам черт за ними не угоняется. Он способен просидеть целый месяц в монастыре и удивить всех благочестием, может толковать с вашими мудрецами о благоденствии рода человеческого, — может есть пять раз в день и пить две ночи кряду. И глав-

ное, делать все это от чистого сердца. Надувание самого себя перешло к нему в жизнь, воплотилось вполне, и потому есть уже жизнь, а не простое надувание. Мы с ним часто ездили на охоту, спали на голой земле и пировали преисправно; а в Петербурге будет он задавать выпляски и подсмеиваться над житем помещиков. Ну, бог с ним.

Что до меня, то я весел и счастлив, *pret a boire si vous voulez* [28], живу более в своем имени, прикупил себе дачу на самом берегу моря. Это мой Тибур[29], правда, здешнее фалернское «кислятина во всех отношениях», да это не беда. Одесса недалеко. Правду сказал древний мудрец: живи там, куда судьба тебя ткнула, пей, ешь и не думай о других.

Да ты ведь новатор и реформатор... ты мастер вопиять об индивидуализме и оптимизме. Я и сам не перестал еще посматривать, как ваша братья ученые переливают из пустого в порожнее по всем европейским столицам, и мог бы смастерить себе новую теорию счастья, — да лучше остаться при старой.

Счастье, любезный мой Сакс, чрезвычайно трудно сосредоточить в одном себе,

несмотря на все расположение наше к эгоизму. Счастливый человек похож на газовый фонарь, потому что бросает вокруг себя светлый круг на известное пространство. Другими словами: счастье похоже на вкусное кушанье: его кладешь в рот, заботясь только о желудке, а между тем все члены крепнут, все тело толстеет и лезет врозь. Пусть мое хозяйство послужит подтверждением моего гастрономического афоризма.

Главное мое поместье купил я у юноши, который прокутился дочиста и совершенно разорил мужиков. Он любил понтировать: мужички платились за проигрыш, не получая с выигрыша ни малой частички. Когда имение продали мне, я приехал сюда, зная, что еду не в Эльдорадо[30], зато и решился ни о ком и ни о чем не заботиться.

Не успел обойти я своих владений, как мне сделалось тошно. Вместо деревень торчали какие-то руины, которые, сам знаешь, в России не так красивы, как на берегах Рейна. Физиономии тощие, жалкие поминутно попадались мне навстречу, отвешивая низкие поклоны. Я потерял весь аппетит, — что ты бу-

дешь делать? — и долго обедал я прескверно. Чуть выйдешь из дому, те же руины, те же госпитальные физиономии. Прошло два года, и я уже гуляю везде, и гуляю и ем с удовольствием. Вместо развалин стоят хорошенькие домики, без которых никуда не годен русский пейзаж, а рожь-то мне попадаются! радость и веселие! Не поверишь, как скоро разжирел поджарый этот народ.

Итак, теперь я совершенно доволен своею судьбою. Приятно, любезный друг, есть три раза в сутки, спать два раза и постоянно видеть вокруг себя жирные физиономии с лоснящимися носами, толстые животы с колеблющимися стопами. Не думаю, чтоб я скоро попал в ваш Петербург, где ни один год не обходится без гриппа, геморроя и тифуса.

Стой! Стой!.. Я хотел было запечатать письмо. Прескверная, преутомительная работа писать, что бы то ни было. А все-таки придется настроичить еще листок.

Ты просишь у меня совета, каким образом лучше выполнить перевоспитание твоей жены, — то есть совета ты не просишь, а стороной на него напрашиваешься: я знаю твою

волчью манеру. Отчего же не посоветоваться с хорошим человеком? Тем более что советы мои так же славились, как и твой вкус. Они отличались совершенною неудобоисполнительностью, потому-то я и приобрел такую славу. При всякой беде так и говорили: «Вот не послушался Залешина, а было бы добро». Впрочем, читая твое письмо, вижу я, что советовать тебе вещь трудная.

Письмо твое изобилует красотами слога и решительно не дает мне понять, какого роду воспитание желаешь ты дать своей жене, — короче, чего ты от нее хочешь? Ты хочешь и вывести ее из ряда обыкновенных женщин, и показать ей жизнь, и дать помощника своей душе. Ай, Константин!.. в тридцать лет от роду неприлично откалывать такие юношеские фразы. Фактов мне, фактов подавай, — я глух на все отвлеченные порождения идеализма.

Ты хочешь из нее сделать себе помощника. Помощника в чем? Занятия эти не определены в особом уставе, как занятия помощника секретаря или помощника бухгалтера. Я понял одно только из твоего плана: ты хочешь развить в жене эстетический вкус и немнож-

ко насмешливый взгляд на жизнь с ее огорчениями. То и другое я одобряю.

Потом... да всего не опишешь. Лучше, знаешь ли что?.. напиши мне, как понимаешь ты значение женщины в наше время; пусть я узнаю, чем ты хочешь, чтобы была для тебя твоя Полинька. Составь мне свой идеал и перешли его по почте, только не смотри на то, что я сказал идеал. Мысли твои пусть будут также просты, осязаемы, как самые факты.

Я тебя не виню вполне. Требования нашего века относительно женщин — странны, неопределенны и сбивчивы. В сочинениях лучших писателей и самых плохих бумагомастеров напрасно станем мы искать ответа на вопрос: «чем должна быть женщина в наше время?» Лучшие европейские таланты пасуют или силятся нарисовать нам ряд невероятных фигур, поместив его вне места и времени. Отцы наши восхищались Клариссою и Юлиею[31], и то были идеалы, сообразные с своим веком. А для девятнадцатого века нет еще ни своей Клариссы, ни своей Юлии.

Русские писатели откровеннее: они или почтительно обходят женщин и пишут рас-

сказы без героинь, или выводят на сцену какое-нибудь бледное, забитое существо...

Я вижу, что жена твоя мало училась и еще менее видела, как живут на свете. Бравши де-вушку, избалованную пансионерку, ты должен был рассчитать это заранее. Учить ее по книгам поздно, продолжай с нею свою дидактическую болтовню: женщины так любят, когда им рассказывают умные сказки. Дездемона влюбилась в арапа, слушая его рассказы. И я всегда думал: горе мужьям, если жены по временам их не заслушивают.

Не держи ее в Петербурге: там она ничему хорошему не выучится. Или вези ее за границу (конечно, не в Баден-Баден и не в Эмс), или к нам, на юг России. Вот природа так профессор: кто не понимает ее уроков, даром что они достаются gratis?.. [32]

А женщины любят природу: не раз наблюдал я, как хорошенькая дама глядела на закат солнца за лесом или на беготню облаков перед бурей. Само собою разумеется, такие занятия происходили не перед балом и не за примеркою нового платья... да и то добро.

Без сомнения, и тебе надо везде быть с же-

ною. Пора бросить столицу: чего тебе еще ждать? Съездил по шапке двух, трех крючководов — и отходи в сторону. Все несчастья твои происходили оттого, что везде умел ты залезть в драку, или, по-твоему, в борьбу. Оставь же все это: ты поработал на своем веку, поживи же для себя; не всякому достается такая миленькая женка. Навстречу какой еще борьбе хочешь ты выйти с нею рука об руку, говоря словами твоего письма? Эка страсть ходить в атаку! Экое юношеское бушевание!.. Музыку сюда, музыку! Пусть сыграет она тебе тот марш, под который в старинные времена отхлопывали мы ногами по вспаханному полю.

Прощай же, пантагрюэлист твой тебе кланяется. Если заедешь ко мне по пути, будет куда поместить и жену твою и тебя: дом у меня преогромный. Право, приезжай, милый Rapurge [33], мы посетим оракул дивной бутылки[34] и выпросим его мнение насчет супружества в XIX столетии.

*От т-те Annette Красинской к
Полиньке Сакс*

Спасибо тебе за письмо, ma petite Paulette [35]. Здорова ли ты, миленький мой персик? Такая ли же ты толстененькая и веселенькая, как в прежние времена? О себе мало хорошего могу пересказать: впрочем, о моем житье-бытье можешь ты спросить у брата, который хотел доставить тебе мое письмо.

Вот ты и рассердилась, я знаю это. Тебе противно видеть бедного моего Сашу. Полинька, пожалей и его и меня: никакое перо не напишет, сколько настрадалась я за это время! И теперь сердце мое совсем испугано, я не могу привести мыслей моих в порядок, а, прости меня, виновата тут немножко и ты.

В Италии брат мой узнал от кого-то из русских, что ты замужем. Сперва он не поверил этому, потом как сумасшедший поскакал в Россию. По делам надобно было ему заехать в Одессу, оттуда приехал он ко мне, не пивши, не евши, не спавши.

Я испугалась не на шутку, когда он вбежал ко мне, худой, бледный, с глазами как огонь. «Правда ли, что она вышла замуж?» — было первое его слово. Я не знала, что отвечать, и залилась слезами. Он упал на стул и несколько минут не мог ничего выговорить. Я, наконец, подошла к нему и поцеловала его. Голова его горела как в огне. Мы с мужем уговорили его лечь в постель; в этот же день открылась у него страшная горячка.

Я просиживала ночи у его постели. Он плакал, метался во все стороны, проклинал свою ветреность, называл тебя не иначе, как своею Полинью. То хотел он застрелиться, то с восторгом припоминал время, когда он видел тебя в пансионе и по часам говорил с тобою. В первый раз заснул он только, когда кризис болезни миновался: воспользовавшись этим, и я ушла в свою спальню и заснула как убитая.

Вдруг чувствую я, кто-то меня трогает. Просыпаюсь; он стоит передо мною, в сюртуке и каске.

— Сестра, вели же мне дать лошадей, — сказал он, — разве я ребенок, что меня не пускают?

— Зачем тебе ехать? — спросила я.

Он весь вспыхнул и затрясся. Он говорил, что кому-нибудь из двух надо выбратся со света, что Саксу, видно, на роду написано сталкиваться с Галицкими. Я поняла, что он хочет ехать в Петербург и стреляться с твоим мужем.

Долго умоляла я его опомниться: он и слышать ничего не хотел. По счастью, увидел он у кровати моей твой портрет, который с тебя писали, когда тебе было двенадцать лет. Сначала он бросился к нему с ожесточением, схватил его со стола, но, взглядевшись в твои черты, стал целовать его, жать к своей груди. Усилия эти так его ослабили, что мы опять снесли его на постель без труда. Наконец он успокоился, перестал тосковать и как будто привык к мысли, что ты не можешь ему принадлежать. «Все, что мне осталось, — говорил он мне с тех пор, — это изредка видеть ее и молиться за ее счастье».

Боже мой, Полинька, как мне становится грустно, когда я подумаю, что сделалось из этого молодого человека, за которым так гонялись наши дамы, который жил так безза-

ботно и не знал, есть ли горе на свете...

Перед отъездом его я дала ему это письмо. Ангел мой, пожалей его, присоветуй ему чем-нибудь заняться, обласкай его. Он еще так молод, все это пройдет, он переменится, будет иметь к тебе дружбу... без этого он или застрелится, или попадет в какую-нибудь беду. Пуще всего, не говори твоему мужу, что ты знаешь про всю эту несчастную любовь: избави бог, если они встретятся. Ты не знаешь, какой человек этот Сакс: он погубит бедного моего Сашу. И теперь я ночей не сплю, когда об этом думаю.

Ты пишешь о дуэли, в которой когда-то был замешан твой муж, — я расскажу тебе всю эту историю, чтоб ты поняла, как необходимо тебе беречь моего брата и как может повредить ему излишняя твоя откровенность с мужем.

История эта случилась, когда я только что кончила свое ученье, а ты была еще в средних классах. В то время, по какому-то случаю, много русских жило в Париже, и они, по обыкновению нашей молодежи, сорили деньгами и веселились вволю. Муж твой тоже там

жил и рассказывал всем, что учится чему-то, — как будто нельзя учиться у себя дома.

На одном из тамошних театров была в большой моде молоденькая и преизбалованная актриса. Она играла по большей части мальчиков... можешь судить, какого поведения была эта женщина. Почему-то наши шалуны не влюбились ей, а особенно однофамилец наш Галицкий, не князь, а просто Галицкий, товарищ Саши и приятель его по корпусу. Актриса, по какому-то особенному случаю почувствовав припадок скромности, не пустила к себе Галицкого, несмотря на все его старание сблизиться с нею. То был мальчик бойкий, умный, богатый и вовсе не привыкший к таким отказам. Он подобрал себе компанию из ее противников и решился дать порядочный урок своенравной актрисе.

Один вечер, чуть вышла она на сцену, поднялся шум, гвалт, каждое слово ее встречалось свистками и насмешками. Публика увлеклась скоро общим расположением, шумела и потешалась. Кто кричал петухом, кто блеял, как баран, а Галицкий давал полную

волю своему негодованию и просто бранился из первого своего ряда. Прием этот так удивил актрису, что она раскапризничалась, подошла к рампе, хотела что-то сказать и залилась слезами.

Ну, конечно, молодежь светреничала, да что же это за криминальное преступление?

В это время Сакс вышел из своего ряда и, ставши у оркестра, обратился к передним рядам публики.

— Господа, — сказал он, обращаясь и к шумящим и к нешумящим, — я объясню вам причину этого скандала. Вчера один мой приятель бился об заклад, что он в четверть часа успеет поднять всю публику против самой любимой ее актрисы.

Слова эти ловко были придуманы, шум стал утихать, и скоро все заметили, что продолжал кричать один Галицкий. Приятели решились поддержать его, и шум опять было стал подниматься. Тогда муж твой подошел к Галицкому и силою посадил его на место. Осрамленный безжалостно перед всею публикою, бедный Галицкий бранился и кричал, пока полиция не заставила его выйти. Перед

уходом, однако, он вызвал на дуэль Сакса, почетного защитника актрисы.

На другой день хотели их помирить. Кто же, думаешь ты, отказался? Теперешний твой муженек. Он потребовал безделицы — чтобы Галицкий поместил в газетах извинительное письмо перед этой девчонкой, которая, к довершению эффекта, еще и захворала или сказалась больною. — Вот оно, рыцарство!

Галицкий взбесился еще хуже. Их развели: Галицкий выстрелил первый и дал промах. Сакс подошел к нему и стал тихо говорить с ним. Разговор этот пересказал мне сосед мой по имени, Залешин, бывший секундантом в этом несчастном деле.

— Напишите письмо и выставьте внизу первую букву вашего имени, — говорил Сакс.

— Не хочу, — отвечал Галицкий.

— Не подписывайте же письма вовсе — только уезжайте отсюда.

— Не хочу, — говорил Галицкий.

Великодушный рыцарь покачал головою, отошел на пятнадцать шагов — и прострелил ему голову. Тот и не пикнул. Мало этого. Ты думаешь, он бросился к убитому, плакал,

рвал свои волосы? — Сакс подошел к секундантам, которые хлопотали около мертвого тела, и холодно взглянул на обезображенное гневом и судорогами лицо Галицкого.

— Господа, — тихо сказал он, — не жалейте об этом молодом человеке. Верьте мне, из него бы вышел только бездушный изверг.

Этому-то случаю, ma petite Paulette, обязана ты тем, что слушаешь такие милые рассказы о Кавказе и сражениях, где был твой муж. Да он недолго был там... через год ему все вернули.

Я бы не написала тебе этого несчастного рассказа, если б не шло дело о том, как предохранить брата моего от беды. Я вполне уважаю твоего мужа, и несмотря на то, что я, по словам его, скандальная дама, мне не хочется чернить его в твоих глазах.

Ты поймешь теперь, душенька Полинька, почему я прошу тебя так горячо за моего брата. Позволь ему хоть смотреть на тебя, хоть изредка поговорить с тобою. Поучи его уму-разуму и пожалей о нем: по душе своей он стоит этого, по душе он ребенок, добрый и благородный. Бояться тебе нечего: ведь это

только в романах пишут, что выходит беда, если при муже и жене заведется еще влюбленный молодой человек.

ГЛАВА II

Пока два эти письма лежат еще в кармане у князя Галицкого и податель их обдумывает план атаки на чужое счастье, посмотрим на житье молодых супругов, принявших такое похвальное намерение — перевоспитать друг друга по-своему.

Был час второй перед обедом. Полина Александровна Сакс сидела в своем причудливо убранном будуаре, сморщившись, надув губки, нахмутив брови по образцу Юпитера Олимпийского. Она рассеянно перелистывала книжку карикатур Гранвиля[36], которого талант в то время уже начинал выказываться.

Было отчего сердиться и думать о своем несчастье: целая буря бед, огорчений, обманутых надежд, разочарований обрушилась на хорошенькую голову молодой дамы.

Прежде всего да будет известно, что Поля (то была прескверная и презлая собачка, которую мадам Сакс, в избытке нежности, назвала собственным своим именем), Поля объелась и захворала. Скверное создание, с мутными глазами и мокрым рылом, лежало на другом

кресле, на мягкой подушке, и угрюмо ворчал на свою госпожу, к которой и самые злейшие псы подходили и ласкались, как к двухлетнему ребенку.

Потом — платье, в котором надо было ехать сегодня в собрание[37], не было еще готово. Правда, мадам Бар, или Изамбар, или Нальпар божилась, что к вечеру все поспеет... да это что за отговорка?

Потом — маменька только что уехала, а перед тем побранила Полиньку, зачем позволила она мужу везти себя вчера в русский театр[38].

Потом — и это было, точно, ужасно — курьер приехал ранехонько поутру и потребовал Сакса к министру. Сам Костя вчера рассказывал, что теперь на время развязался со службою, а вдруг, не доспавши, вскочил как угорелый и до сих пор не приезжал.

Итак, вам легко понять, отчего широкая, готически убранная комната казалась Полиньке и пуста и мрачна, отчего группа Амуре и Психеи, грациозно выдвигавшаяся от противоположной стены, выводила ее из терпения своею непристойностию, отчего святая

Цецилия, изгнанная из спальни, как-то лукаво смотрела на мадам Сакс и как будто подсмеивалась над ее горем.

Вот почему Полинька Сакс уже с полчаса сидела в широком кресле, прижавшись совсем к уголку, подогнувши ножки и уцепившись руками за колени. Три собачки, загнув хвосты кверху, напрасно ходили около нее: она не садилась к ним на пол, не целовала их, а только время от времени заботливо посматривала на больную свою Полю.

Вдруг собаки поджали хвосты и, будто по команде, справа по одной вышли из комнаты. Чьи-то шаги послышались вдалеке: Полинька нахмурилась еще больше, еще крепче прижалась к уголку кресел... и, несмотря на все усилия, не могла-таки сдержать самой веселой, самой несердитой улыбки.

В комнату вошел Константин Александрович Сакс, в черном фраке и черном бархатном жилете. Следы нелюбимой работы еще не успели исчезнуть с его лица; с озабоченным видом прошел он к креслу, на котором сидела Полинька и две трети которого все еще оставались пустыми.

Вдруг улыбка показалась на его лице, он бросился в кресло, загородил уголок, в котором Полинька сидела, и обхватил ее талию.

— А! Мы сердимся, — говорил он, целуя ее, — знаю я привычку жаться к уголкам, знаю твои кошачьи манеры!

— Тише, Костя, тише, — кричала Полинька, царапая мужа без всякой церемонии, — не видишь ты, Поля больна...

— Ты больна? Что с тобой, птичка?.. — Он с беспокойством посмотрела лицо Полиньке.

— Ай, ай! И жену от собаки не отличит.

— А! Так эта Поля больна, — сказал Сакс, покачав головою и взглянув на собачонку, которая все ворчала. —

*Грех великий христианское имя
Нарекать такой поганой твари.
[39]*

Это сказано о жабе, да не велика разница.

— Ах, гадости! Слушай, Костя, — продолжала Полинька с серьезным видом: — зачем ты меня вчера обманул?

— Это как?

— Куда ты сегодня чуть свет уехал?

— Служба, птичка моя, служба, от нее не запрешься. — И лицо Сакса приняло прежнее выражение досады и беспокойства. — Сегодня бы уж не в счет, да вот горе какое случилось...

— Что, что такое?

— Мне надо ехать отсюда на три недели.

Полинька оцепенела, испуганные глаза ее остановились на муже, сердце ее замерло.

— Куда? — с усилием выговорила она.

— Верст за четыреста. В ***ов[40].

— Боже мой, зачем же?

— Мне поручили важное следствие.

— Ну, я поеду с тобою.

— Птичка моя, если б я только мог везде ездить с тобой, как с маленьким братишком! Иному покажется смешно, что я еду с женой на службу, да мне что до этого! Только ты ведь балованное дитя, выдержишь ли ты скачку по теперешним дорогам? А на месте я должен шуметь, браниться, допрашивать, ездить туда, сюда... ты не выдержишь этой муки.

— Не ездь, Костя друг мой! Мне так страшно, так страшно. Откажись, кончи со службою, чего тебе еще надобно?

— Полинька моя, — сказал Сакс, крепче и крепче сжимая ее талию:— спасибо тебе, дитя мое. Ты мне даешь добрый совет, и я за тебя радуюсь. Видит бог, я бы все сделал для тебя, а отказаться от следствия не могу.

— Да что это значит следствие?

— Слушай и суди сама. Служил здесь в Петербурге старый ябедник, злая выжига, некто статский советник Писаренко.

— Знаю... я видела его. Он правил делами старого генерала Галицкого.

— Отца этого адъютанта?

— Да, да. Ну, что же Писаренко-то?.. — И она прислонилась головкой к широкой груди Сакса.

— Не знаю, — продолжал Константин Александрыч, — как вел он дела покойного князя, а служебную часть вел из рук вон плохо. При своем важном месте во ***ве, он об- считал и казну и имевших дела с казною и взял себе в карман тысяч более ста. По отчетам его, которые я разбирал, открыл я это воровство и обвинил и его и товарищей. Ты знаешь, что такое казенные деньги. Их дает мужик из скудного своего достатка, их надо бе-

речь и тратить только на дело. За какие подвиги достались они мошеннику Писаренке? Поэтому за это дело горячо вступились и, в знак доверия, поручили мне разъяснить всю эту историю. Там можно сделать кое-что доброе.

— Это так, Костя, да мне не к добру грустно... Оставь это, не ездиди...

— Положим, я откажусь. Положим, что мне простят явное нарушение служебного порядка. Но честь моя может пострадать. Кто поедет на мое место? Как кончит он дело, мною поднятое? Может поехать неопытный человек и запутать себя и меня. Может поехать жадный человек и к одному злу еще зло прибавить...

Сакс остановился. Полинька, закрыв лицо руками, плакала навзрыд и слушать не хотела хладнокровных его доводов.

Сакс был вспыльчив, как все нервические люди. Огорчения дня часто вымещал он на лицах, вовсе не причастных этим огорчениям. С досады он так повернулся в кресле, что больная собака залаяла и вскочила с своего места. Полинька, уцепившись за ручку кресла,

сел маленькими, но сильными своими руками, вспорхнула и бросилась к Поле.

Константин Александрыч тоже встал и начал ходить по комнате.

— Полинька, — сказал он, остановившись перед женой, которая укладывала собачонку на старое свое место и горько плакала, — пора нам бросить эти идиллии. Долго ли тебе оставаться ребенком и не двигаться вперед? Когда ты будешь женщиною? Я люблю тебя, но я не содержатель пансиона. Я человек простой, человек служащий, — меня часто огорчают: нам с тобой некогда обо всем плакать. Выучимся лучше жить и веселиться, где только можно. Подумай, что будет из нас через десять лет: неужели и в тридцать лет от роду ты такую же останешься?

— Не езд, Константин! — могла только выговорить Полинька и заплакала пуще.

Поспешим извинить бедное дитя: оно тосковало не из прихоти. Какое-то предчувствие беды, непонятная грусть подступали к Полинькиному сердцу, чуть только начинала она думать об этих трех неделях отсутствия мужа.

Но Сакс не знал этого: он не верил предчувствиям. Минутная, но горячая досада волновала его душу, он ходил большими шагами взад и вперед по комнате, и когда испуганная собака встретилась ему на пути, он отбросил ее ногою в другой угол.

Полинька взяла собачонку на руки и отошла в уголок, боязливо посматривая на мужа. — Слезы, как крупные брильянты, остановились в ее глазах. Саксу и это не понравилось...

— Боже мой! — говорил он отчасти вслух, отчасти про себя, продолжая свою маршировку по комнате. — Год любви, год стараний, год горячего труда прошел совершенно даром... До чего добивался?.. Те же бессознательные слёзы при малом горе, та же бесконечная возня с собачонками... Не глуп ли я? Способен ли я к тому, за что принялся, или уже нельзя иначе, или...

Он ударил себя рукою в голову. Тяжкая мысль, сомнение в способностях жены, посетила его...

Нет, она не глупа. Столько светлого, хотя и детского разуму замечал он в речах ее!

Или у нее нет воли, нет энергии в характере?

— Полинька, — опять начал Сакс, подходя к ней. — Я затронул твоего Цербера, извини меня. Поругай меня хорошенько, я совсем мужик, негодный для дамского общества.

Но Полинька не смотрела на него, не отвечала ему. Она была огорчена. В первый раз в жизни пришлось ей выслушать порядочную нотацию, и за что же? За то, что ей сделалось грустно, за то, что ей жалко было расстаться с мужем. Ее тихость, ее детский характер, превозносимые всеми до небес, — сделались предметом нападков со стороны Константина.

Ей было досадно. Ничего не говоря, сидела она в уголку, и ей становилось грустнее и грустнее.

Но страшно было действие этой первой ссоры на Константина Александрыча. То был человек страстный и постоянный, вечно свободный во всех своих поступках. Если он не ладил с кем, то не ладил на всю жизнь, не признавая необходимости приноравливаться к чьему бы то ни было характеру. Фамилизм

[41] и его мелкие, губительные драмы и во сне не мерещились его вольной и широкой мысли. Бродячая жизнь в молодости, богатство и любовь в зрелых годах избавили его от грязной стороны семейной жизни.

И вдруг, как змея из розового куста, бросилась к нему, обхватила его эта семейная жизнь, со слезами и злыми собачонками, с беспорядками и ссорами...

Сакс сел на старое место и угрюмо повесил голову.

А между тем гнев Полиньки прошел. Милый ребенок уже готов был броситься на шею своему мужу. Пусть он начнет, говорит, однако, ложный стыд...

Она подошла к роялю: спела романс Дездемоны, сыграла Sperrl-Polk'у. Бедняжка, она не знала, как солоно приходилась Саксу Sperrl-Polka.

Она стала ходить по комнате. Она знала, маленькая кокетка, что муж любил ее торопливую походку и заглядывался на крошечные ее ножки.

У Сакса сердце повернулось в груди. Куда делась досада, куда скрылся призрак семей-

ных ужасов!

Однако он крепился, молчал, смотрел еще угрюмее, но смотрел в ту сторону, где ходила Полинька... Ему хотелось помучить ее.

Не вините Константина Александрыча: вы, может быть, не знаете, какое болезненное, упоительное наслаждение мучить ребенка, за волосок, за улыбку которого мы готовы отдать полжизни? И еще как мучить!

По этому поводу я скоро расскажу вам другую историю... грустную историю, странную историю.

Сакс все молчал и сидел, угрюмо наклонив голову.

Полинька вынесла из своей спальни какие-то книжки и подошла к мужу.

— Смотри, Костя, — сказала она: — вот что прислала мне сегодня Таня Запольская. Стоит ли их читать? Ты ведь все знаешь.

Константин Александрыч взглянул на книги: то был бесконечно длинный французский роман.

— Брось это, — сказал он: — лучше ничего не читать, чем портить свой вкус этою дрянью.

— Да мне хочется читать что-нибудь, — говорила Полинька, взявши с этажерки роман Жоржа Санда «Les Mauprats» [42]. — Это хорошо?

— Это очень хорошо, Полинька, да ведь ты же выбрала Жоржа Санда напропалую.

— Ну, я виновата, я стану его читать.

— Ты еще жаловалась, что ничего в нем не понимаешь.

— Я читала без охоты: теперь я буду стараться. Хочешь Костя, — сказала Полинька с веселым видом, с которым отпускала страшнейшие свои наивности: — хочешь, я буду учиться по этой книге. Видишь, — тут она загнула два верхние листка, — я выучу это, как долбили мы в школе: Il est temps de lever nos yeux vers le ciel... Calypso ne pouvait se consoler du depart... [43]

— Э! Черт возьми! — вскричал Сакс, выведенный из терпения чересчур невинною выходкою Полиньки. — Притворяешься ты, что ли? Будет ли конец этому?..

— Чего ты сердишься? — И она по-прежнему показывала ему первые листки книги.

— Да разве долбят эти вещи? Да разве учат

что-нибудь наизусть в твои лета? Где мне взять терпения!

И, призывая на помощь терпение, вспылчивый Сакс вырвал из рук Полиньки роман любимого своего писателя.

— Дай мне книгу, я хочу читать ее! — кричала Полинька, теряя терпение в свою очередь.

— Mais que diable, madame.

— Mais que diable, monsieur!.. [44] — и Полинька топнула ножками, сперва одной, потом другою.

— Que diable, que diable! — с радостью закричал Сакс, притягивая к себе жену за обе руки. — Живее, друг мой! Брани меня, сердись хорошенько! Morbleu! parbleu! sacrebleu!.. [45] — посылай меня к черту.

— Morbleu!.. parbleu!.. Костя, Костя, ты все хочешь, чтоб я была как мальчик!

Константин Александрыч был побежден. Все эти сцены и утомили его и разнежили, как это водится с людьми, до безумия влюбленными. Он посадил Полиньку на диван и сам сел с нею рядом. Очередь читать наставления осталась за m-me Сакс.

— Константин Александрыч, — важно говорила она, пока муж, ничего не слушая, целовал ее кругленькую шейку: — долго ли тебе дурачиться, чудить, шуметь из пустяков?.. Ведь ты живешь в свете, друг мой... с людьми живешь, душенька...

— Прошу покорно! — И Сакс не мог удержаться от смеху. — Она же читает мне мораль! Она же меня журит! Ну, да говори, говори; мне что за дело, — голоса только не переменяй...

Долго бы Полинька читала мужу разные вздоры, целиком почерпнутые из бесед с маменькою, если бы шум чьей-то походки не спутал совершенно нити ее наставлений.

Вошел камердинер и доложил, что князь Галицкий просит позволения видеть Константина Александрыча и Полину Александровну.

— Это бы зачем? — вырвалось у Сакса.

— Письма имеют передать, — отвечал камердинер на размышление своего барина.

— Ах, от сестры! От Annette!.. — радостно вскричала Полинька. — Проси, проси! — Лакей вышел.

— Ловко ли это? — спросил Сакс жену. — Ведь он на тебе сватался?

— То есть собирался. Мне-то что за дело? Сам прогулял. Ты ведь его знаешь?

— Знавал на Кавказе и здесь видел. Придется продолжать знакомство, а куда мне его девать? Твои родные с ним не в ладу, для моих знакомых он и молод еще и знатен. Передать его разве в твое полное распоряжение?

Полинька покраснела, и сердце ее заби-лось.

ГЛАВА III

Вошел стройный молодой офицер и после первых приветствий и расспросов отдал по принадлежности оба письма, известные нам по содержанию.

— Эта услуга не велика, — сказал он, передавая Саксу письмо от Залешина: — зато я претендую на особенную благодарность Полины Александровны. Для таких писем почта тиха, а я ехал скорее почты.

— Что Annette? Здорова ли она? Дайте же письмо. — И Полинька стала читать послание своей подруги, нисколько не думая о том, что в комнате был посторонний человек и что глаза этого молодого человека так ловко следили за каждым ее движением.

Сакс положил свое письмо подальше и, разговаривая с князем Галицким о военных событиях, при которых, во время оно, столкнула их судьба, всматривался в него с любопытством и не без особенного удовольствия.

Князь Александр Николаевич имел одну из тех редких физиономий, которые нравятся с первого разу и мужчинам и женщинам.

Правильные черты лица его казались и тоньше и умнее от матовой, несколько болезненной бледности, к которой чрезвычайно шли маленькие черные усы, приподнятые кверху. Рот его сохранял нежное, детски-ласкающее выражение, которое остается надолго у мужчин, бывших в детстве особенно хорошенькими мальчиками.

Он был высок и строен: но несколько жиденький стан его как будто был остановлен в своем развитии. Мундир с серебряным шитьем делал князя еще моложе...

— Что же подельывает добрый мой Залешин? — продолжал Сакс начатый разговор. — По-прежнему ли почитывает своего Пантагрюэля? Хорошо ли вы сошлись с ним?

— Я давно не запомню такого приятного знакомства, — говорил князь. — Далек бы пошел ваш товарищ, если б не леность его.

— Его добрая воля, — заметил Сакс. — Да и чего же нам жалеть? Я уверен, что он совершенно счастлив.

— Да он был бы счастлив и здесь. Дайте ему хоть целое министерство: он будет так же весел и спокоен, будет и есть, и пить, и рабо-

тать на славу. В службе тяжело только людям мнительным.

— То есть, вы думаете, что государственный человек...

— Должен быть эпикурейцем. Потому-то, скорее всех, служить должно Залешину.

— Оно почти так... Чем больше я на вас гляжу, — говорил Сакс, — тем более вижу в вас перемены. Вы гораздо более похудели, чем перед вашим лечением.

— У меня была нервная горячка... после вод.

— Да, воля ваша, и глупы эти воды. Есть ли что в мире пошлее, скучнее этого вечного Карлсбада и всех подобных лечебниц?

— Для меня они еще тошнее, — сказал князь, улыбаясь, — даром что я родился чуть только не в минеральной ванне... Я побыл недолго в Германии, весною проехал в Италию...

Полинька дочитала письмо и молча сидела и кусала губы.

— Я вас на минуту оставлю с женою, — сказал Сакс, взявши опять письмо Залешина: — ей уж не терпится... надо расспросить

про подругу. Жаль, что я скоро уеду из Петербурга... правда, ненадолго. Если вы свободны, останьтесь обедать с нами.

Князь поклонился.

— У меня будет Запольский, которого вы знаете, да один художник из Италии. Оно вам и кстати. С ним потолкуем о Риме, а с вами

О бурных днях Кавказа...[46]

Сакс вышел с письмом в руках.

Медленно, с грустным взглядом, который так шел к интересному его лицу, подошел князь к Полиньке.

— Простите ли вы меня, Полина Александровна? — тихо сказал он, остановясь перед нею и сложив руки под грудью.

Полинька вся покраснела, потом побледнела, как полотно. Ей стало и жалко, и страшно, и совестно.

— M-r Alexandre, — сказала она по пансионской привычке, — в чем же?.. Я права, и вы правы... Вы, верно, прочли письмо? — вдруг вскричала она и снова покраснела.

Не улыбнувшись, не поморщившись, встретил князь Александр Николаич эту

невыносимую наивность.

— Вы знаете, о чем оно? — опять спросила Полинька, чтоб поправить свою ошибку.

— Я догадываюсь, — грустно отвечал Галицкий. — А что мне за дело? Я прямо винюсь перед вами и не умею ни от кого скрываться... Письма эти были предлогом — я хотел видеть вас.

Полинька, перетрусившись совсем, боялась посмотреть в лицо князю.

— Не боитесь ли вы меня? — продолжал он. — Или в наше время любовь может вести к чему... или какая-нибудь страсть может развиться в наше время?..

Полинька находилась в страшном недоумении и не знала, что говорить.

— Я скажу вам откровенно, как говаривали мы в старые годы, я и сам не знаю, люблю ли я вас теперь. Я не думал о возможности говорить с вами... всю дорогу мне ни разу не грезилось даже целовать вашу руку... У меня одна только непонятная потребность — потребность глядеть на вас, Полина Александровна. Может быть, этого делать не следует... скажите мне прямо...

Князь шел прямою дорогою. План его атаки был до чрезвычайности прост. С Полиньюкой не могла иметь места любовная схоластика.

Услышав такую речь, Полиньюка ободрилась и подняла глаза до голубых глаз князя.

— Как это странно! — заметила она. — Вы много думаете, m-r Alexandre... верно читаете все книги. Вам надобно чаще ездить на бал... у вас столько знакомых...

— Я думал о причинах этой грусти, — продолжал князь: — думал об этой энергической потребности видеть вас... сказать ли?.. одно время я советовался с докторами, конечно не называя вашего имени. Это болезнь такая... гибельная только для меня... да она пройдет еще, может быть. Один взгляд ваш облегчил меня, я уже спокойнее.

— Да, все это пустяки, — сказала Полиньюка уже гораздо смелее прежнего: — вам надо веселиться, в карты играть... Я бы рада помочь вам, да нельзя же нам все глядеть друг на друга.

«Ах ты, милая плутовка! — подумал про себя князь. — Как ловко, хоть и бессознательно,

подметила ты смешную сторону моего платонизма! Вперед! Еще усилие!»

— Вам кажется смешна моя грусть? — продолжал он вслух. — Впрочем, благодарю вас за участие. Надо мной могут смеяться... мне что за дело? Лишь бы я видел вас. Положение мое не подходит под общие законы... Я так уверен в странности, исключительности моей болезни, что готов идти к вашему мужу, открыть ему все... и он сам...

— Что вы? Боже мой! Молчите! Не говорите ему... Если вы хоть слово ему... я не стану говорить с вами... — Бедный ребенок снова побледнел: кровавая картина дуэли, написанная услужливою приятельницею, ясно выдвинулась перед ее глаза.

Ни один мускул не пошевелился на бледном лице князя.

— Мне его нечего бояться, — говорил он печально: — я не имею прав и глубоко уважаю права его. Требования мои не велики, а он благороден.

— Я сказала вам, князь, если вы только любите сестру, ни слова Константину Александрычу... я сама ему, после...

«А! Это дельно! — с удовольствием подумал князь. — Еще атака! Ну, Марлинский, вывози!»

— Странно! — начал он вслух. — Чудный человек! Я бы не ждал этого от него. В Дрездене видел я образ Мадонны, к которому нельзя было подходить без слез и без трепета. У чудной картины этой никто не стоял, не гонял прохожих, не говорил им: я один могу смотреть на нее...

Галицкий замолчал. Полинька сидела, опустя голову и перебирая кончики своего шарфа. Казалось, на ее глаза наворачивались слезы, потому что она ими мигала беспрестанно.

Робкое молчание нарушено было приходом Сакса и двух его приятелей.

— За стол, mon prince! — кричал он, входя в комнату. — Рекомендую вам... да за обедом познакомимся. Pauline, — он обратился к жене, — поездку мою на два дни отложили.

Константин Александрыч был очень доволен этой отсрочкою, Полинька была довольна тем, что бедный князь оказался таким тихим; был ли доволен Александр Николаич, этого, по праву рассказчика, я вам не скажу.

ГЛАВА IV

I

*От кн. А. Н. Галицкого к ст. советнику
Писаренко*

Почтеннейший Степан Дмитрич! Что за ужасы мне про вас рассказали! Вы попались в переделку к правосудию? Бескорыстные наши алгвазилы[47] подкопались под ваше благополучие? Жаль мне вас, от всей души жаль. Помните, покойник отец говорил вам: «Эй, Степан Дмитрич, не бери этого места! Тяжело нынче служить старикам: новое поколение прет и ломит — и ничего не понимает».

Я и сам так думаю: в этой драке плохо тому, кому жить меньше. Откудова-то выскакивают юноши, кричат о честности высокой, сами даже плачут... Ну, эти бы еще ничего: они ничего не знают.

А хуже всех эти выскочки, как ваш приятель Сакс. Откуда они взялись? От кого родились? Что прежде делали? Никто не зна-

ет, а они знают все, годятся везде, молчат, не говорят о честности высокой — и лезут через других на первые места. Уходитесь ли когда этот народ — бог его ведает.

Душевно бы рад пособить вам, Степан Дмитрич, да кредит-то наш такой бестолковый... знаете ведь, вся фамилия Галицких искони отличалась умением состоять при важных делах, ничего в них не понимая и не делая. Посылаю вам несколько тысяч оправданий, не жалейте меня, у меня скончалась двоюродная тетка и оставила мне... почтенная женщина! порядочный куш чистых денежек.

Псковскими мужиками правьте по-старому: задержите оброк, коли понадобятся деньги. Не оставить же мне старого помощника всего нашего семейства. У меня есть к вам просьба, Степан Дмитрич, странная, а вместе с тем важная просьба. Мне хочется кое в чем угодить человеку, которого, по несчастию, вы близко знаете: именно Саксу. В чем заключаться будут мои действия, этого мне некогда писать; со временем я вам все расскажу. Не съест же вас правосудие.

Для задуманной мною проделки требуется

мне продержат Сакса подолее там, где он теперь, на следствии по вашему делу. Уже неделя, как он уехал, а работает он скоро.

К тому же я просмотрел все, что написано здесь о вашем деле. Работа ему короткая: сверить ведомости на месте и опросить подрядчиков; затем дело кончится, и он вернется в Петербург, к крайнему моему сожалению.

Я знаю ваш здравый образ мыслей, Степан Дмитрич. Вас пугают не следствия, а последствия. «Что за честь, было бы что есть», говорит умная наша пословица.

А в этом случае положитесь на меня как на каменную стену. Все потери, все убытки ваши вернутся вам с лихвою, даю вам мое слово, которого понапрасну я никому не давал. Только сделайте то, о чем я вас попрошу.

Держите Сакса во ***ове как можно долее. По крайней мере пускай дело ваше тянется еще месяца два. Путайте его, взводите на себя небылицы и не думайте ни о чем. Помните, что у меня в шкатулке лежит бездна денег, которых мне решительно девать некуда; Посторонних людей, если можно, в это дело не путайте: пусть все это останется *inter nos* [48],

как говаривали у вас некогда в семинарии.

Да, зачем же я сказал два месяца. Я знаю вашу аккуратность: вы пригоните конец к шестьдесят первому дню, начиная от сегоднешнего. Лучше я вам не даю срока: путайте дело, тяните его до последней возможности. Когда мое дело кончится, я напишу вам одно слово: «Довольно». Тогда развязывайтесь, как знаете. Да не нужно ли вам денег теперь?

Впрочем, не думайте, чтоб пришлось затягивать следствие слишком долго: может быть, мое «довольно» придет и ранее двух месяцев.

Теперь припомнил я, что по вашему делу должны спросить заключения от дяди моего, графа *****го. Его мнения очень ценятся. Тогда-то, поработавши для себя, я и о вас подумаю.

Ну, так по рукам, Степан Дмитрич! Не правда ли? Принимайтесь за дело да надейтесь на меня. Авось как-нибудь и вас выведем!

Преданный вам А. Галицкий.

**От кн. А. Н. Галицкого к т-те А.
Красинской**

Когда мы с тобой расстались, сестра, во мне оставалась не одна искорка здравого смысла. Правда, я выдержал горячку, да бог еще знает, отчего она случилась. Была ли то любовь, досада, или утомительная дорога... Кто еще это разберет?

А теперь можешь меня поздравить с постоянной горячкою. Это не любовь, а сумасшествие, а бешенство. Это чума, которая должна быть заразительна. А ты знаешь мое мнение о любви: никто не выбьет у меня из головы, что любовь, разгоревшаяся до крайней степени, должна сообщиться и женщине, которую мы любим, если только в нашей власти видеть ее и говорить с нею.

Если магнетизер вертит нами по своей воле посредством глупейших движений пальцами, то что же должна произвести страсть, от которой трепещет и рвется весь наш организм?

На то ли женщина сложена слабее мужчины, на то ли оба пола чувствуют взаимное влечение один к другому, чтоб эти разрушительные порывы проходили даром, не возбуждая ни влияния, ни сочувствия?

А я влюблен до последней крайности. Мучения мои усиливаются тем еще, что надо каждую минуту управлять собою, надо действовать. Одно меня еще поддерживает: я не знаю бессонницы. Когда проходит день, я изнемогаю до такой степени, что засыпаю как убитый. Конечно, я постоянно ее вижу во сне; что же другое может мне сниться? Но все-таки сон укрепляет меня.

Я нашел твою Полиньку еще милее, нежели она была во время ее выпуска. Она все еще очень мала, но выросла значительно. Стан ее сделался еще стройнее. Разговоры ее с мужем много сделали ей пользы, потому что Сакс человек и умный и энергический.

Со всем тем я часто ломаю голову, думая о ней. Она не похожа ни на одну из женщин, которых я знал, а вместе с тем похожа на всех их. Понимай это как хочешь: я сам себя не понимаю и более и более убеждаюсь в том, что

Полинька — нравственный феномен.

В пансионе вашем она была самым любимым и балованным дитею. Оттуда вынесла она все эти наивности и странности, которыми вы славитесь в первые годы после выпуска. Дома ее обожали: смотрели на нее как на очаровательную игрушку, как на бабочку, к которой страшно коснуться, чтобы не испортить блестящих ее крыльев. В свете носили ее на руках, старики и молодежь толпами ходили за ней, чтоб наговорить ей всякой дряни и услышать от нее какую-нибудь детскую выходку.

Тройное это баловство не могло не оставить следов в ее характере. Оно не избаловало ее, не дало ей капризов, а сделало еще хуже: решительно остановило развитие ее нравственных способностей. Как оно случилось, предоставляю описывать другим.

Оттого-то в девятнадцать лет она такова, каков бывает самый милый, умный, очаровательный ребенок в двенадцать лет.

Боже мой! Не оттого ли я так отчаянно, так страстно люблю ее? Рано начавшиеся мои успехи между женщинами давно сделали ме-

ня холодным только ценителем женской красоты. Чтобы вывести меня из апатического состояния, требовалась страсть причудливая, почти бессмысленная в своем зародыше. И страсть эта отыскалась: я влюбился не в женщину, а в ребенка.

Страсть эта не есть любовь к женщине: это любовь к ангелу, поразившему меня своей детской прелестью, к ангелу, который знает нашей жизни настолько, чтоб уметь говорить с нами.

Старое сравнение женщин с ангелами! Я употреблял часто это сравнение и каюсь в том, как в святотатстве. Женщины хороши сами по себе, но ангелом называю я и буду называть только одну из них.

И прав Полиньки на имя ангела никто не посмеет оспаривать. В ней все ангельское: и лицо ее, с которого скульптор может взять облик для статуи амура, и миниатюрность ее стана, и чудная доброта ее сердца, и способность к преданности, способность любить, разлитая во всем ее существе.

Но, горе мне! эта способность любить, источник всех женских добродетелей, непра-

вильно развита в ней, не признана ею. Она является во всем: и в преданности к угрюмому мужу, и в любви к родителям, которые гроша не стоят, и в страсти к птичкам и собачкам, и в участии ко мне, когда я плачу у ее ног.

И если бы мне удалось сосредоточить эту потребность любить, устремить ее на себя... не знаю, остался ли бы я жив, не умер ли бы я от восторга перед ее глазами?..

По-видимому, отношения мои к ней зашли до крайности далеко: я бываю у нее каждый день, целую ей руки, толкую ей прямо мою любовь, обнимаю ее и целую. Когда она хочет остановить меня, мне стоит только грустную взглянуть на нее, приложить ее ручонку к пылающей моей голове... и милое дитя все забывает, позволяет мне целовать себя, грустит вместе со мною. Всякой бы сказал, что мне следует радоваться, не помнить себя от восторга, а приходя домой, я терзаюсь в глубине души, рву на себе волосы.

Какая польза мне в том, что она постоянно танцует со мною на балах, дома позволяет целовать себя, говорит мне, что ей самой приятно на меня смотреть, что я «так хорош со-

бою»? Она то же скажет, то же может сделать и при муже.

И ни слова о любви, ни малейшего признака той страсти, которая в этот один месяц совершенно истерзала мою душу!

Один только раз, пусть будет благословен тот день! — вызвал я от нее что-то похожее на чувство, которому нет названия. Без этого, сестра, я бы не писал к тебе писем: еще неделя такой жизни, — говорю тебе просто и открыто, — я наложил бы на себя руки.

Теперь же, благодаря этому сладкому воспоминанию, спокойствие по временам входит в мою душу. Я могу тебе писать отчетливо и спокойно.

Ты догадываешься, что Сакса нет в Петербурге. Перед отъездом поручил он своему приятелю Запольскому, сочинения которого и ты иногда почитываешь, развлекать по временам Полиньку и не давать ей скучать. Запольской хорош и со мною, знает, — что m-me Сакс постоянно была близка к нашему семейству, а потому я сумел устроить дела так, что он, как человек занятой и сам женатый, взял меня к себе в помощники. Мы провожали По-

линьку в театр, дома рассказывали ей все новости, привозили ей игрушки из английского магазина, читали ей журналы, пели ей вечное «Fra rосо» и «Stabat mater»[49].

Дня три тому назад, вечером, Запольский принес к ней кучу нот и картин, а сам отправился доставать билет в театр на этот же вечер. Я остался один с Полиньюкою. Она просила меня петь, я разбирал ноты, мы толковали о тебе, я рассказывал ей про свои корпусные шалости, а при этом дельном разговоре руки и ноги мои были холодны, вся кровь кипела около сердца.

Несколько теноровых партий, валявшихся передо мною, были так пошлы, усеяны такими вывертами... а мне хотелось петь; музыка всегда меня облегчает в подобных случаях.

В это время между нотами отыскал я молитву, знакомую мне хорошо... Чья она, не припомню, да и не до того мне.

Я пел эту молитву и думал о Полиньюке. Я молился моему ангелу, и, верно, молитва моя была не холодна.

Она остановилась сзади меня и положила руку мне на плечо.

— Merci, m-r Alexandre [50],- сказала она, и голос ее дрожал, — я напишу сестре, как вы меня балуете...

Я оглянулся на нее. Красная петербургская заря светила в окно, и розовый ее отблеск заливал всю комнату. На этом странном фоне рисовалась фигура моего прелестного дитяти. Полинька была в белом платье, волосы ее причесаны были не по-женски, в одну буклю кругом головки; мокрые глаза ее приветно глядели на меня.

Ангел, ангел!..

Не помня себя, я упал к ее ногам, прижал губы мои к маленьким этим ножкам. Слезы градом побежали из моих глаз, судорожные рыдания рвали мою грудь.

Страсть моя, достигнув крайнего своего предела, разразилась пароксизмом невероятной силы. Я плакал — в первый раз перед человеческим лицом. И, несмотря на слезы эти, что-то внутри меня говорило: ты велик и могуч в эту минуту.

Она подняла меня, посадила возле себя на диван, держала ручки свои на горячей моей голове.

— Сашенька, друг мой, — говорила она, ухаживая за мною, как за грудным ребенком, — полно ребячиться, что с тобою? Ты сам знаешь, что я люблю тебя, чего же плачешь? Что скажет про нас Annette?

Но зараза начинала действовать: щеки ее краснели, грудь неровно волновалась.

Она села ко мне ближе и стала просить меня, чтоб я оставил ее, не любил бы ее более.

— Дружок мой, — говорила она между прочим, — я не понимаю, чем я тебе понравилась? Посмотри на меня ближе, ведь я совсем не хорошенькая...

И она подробно доказывала мне, что она не хороша собою! Можешь представить, успокоивало ли меня все это. Слабая грудь моя рвалась, но при этой грациозной выходке Полинки она не выдержала... Страшный кашель чуть не задушил меня.

Полинька испугалась, но не потерялась ни на минуту. Надобно было видеть ее в это время, чтобы понять, до какой неизъяснимой грации может возвыситься душа женщины. Она забыла и меня, и себя, и мужа — она видела во мне только больного друга.

Она положила голову мою на свою грудь, обхватила мой стан своими руками.

— Боже мой, полно, полно тебе, Сашенька, — говорила она и сама плакала. — Бог милостив, все пройдет, все забудется... перестань же тосковать, побереги себя... ты знаешь, я сама умру... если что случится...

К этому времени должен был воротиться Запольский и привести свою жену.

Благодаря стараниям Полиньки я скоро оправился, и день наш кончился в театре.

Можешь вообразить — много я там понимал! А Полинька смеялась и слушала пьесу со вниманием!

Ты знаешь, я ехал в Петербург без всякого определенного намерения насчет Полиньки. Посмотреть на нее, заставить ее пожалеть о своем браке, может быть, завести с ней интригу — вот все, что имел я в виду. Но теперь план мой прочно обозначился, и я не отступаю ни на шаг от него.

Полинька не из таких женщин, с которыми бывает достаточно завести любовную интригу и отложить всякое попечение. Там, где с другими женщинами видим мы развязку

нашей страсти, с Полиньюкой это только начало любви. Что значит для меня месяц, год обладания ею, хотя бы и нераздельного обладания? Мне надобно ее всю, навсегда, вполне.

Женщины, — извини меня, сестра, — это дорогие цветные камни, которыми приятно поиграть, иногда носить их. А Полиньюка между ними крупный брильянт; им надо обладать вечно, скрывать его от всех глаз, чтобы не вырвали с жизнью этого брильянта, которому цены нет.

Ей девятнадцать лет, она не бескровная женщина, — положим, я воспользуюсь минутой увлечения, овладею ею... думать только об этом... и кровь моя горит... буду ли я доволен? Я сказал уже, что там, где все кончается с другими женщинами, там только начало любви с Полиньюкой.

Нет, нечего думать, гадать и мириться на середине. Или она будет моя, вечно, нераздельно моя, или меня не будет на свете. Возвращение Сакса решит это дело, а до тех пор... будь что будет.

Что мне за дело до этого человека, который гордо стоит на моей дороге? Он любит

ее? Я люблю ее. Он благороден? Мне какое дело — я люблю ее. Он смел и силен? Что мне до этого — я люблю ее.

ГЛАВА V

I

От Полинки Сакс к т-те Красинской

Ах, Annette, Annette! Душенька Annette! Что ты со мною сделала? Если б ты посмотрела на свою маленькую Полинку, ты бы вся перепугалась и заплакала. Такого горя, как у меня, не бывало никогда ни у одной женщины. И если бог станет судить нас, я хотела бы взять всю вину на себя... а то тебе много придется перед ним отвечать.

Зачем посылала ты сюда твоего брата? Зачем писала ко мне через него? Ты думала его успокоить, а сделала во сто раз хуже. И я умру, и он умрет. Если я не стану любить его, он погубит себя, — если я буду любить, он станет стреляться с моим мужем. Он поминутно говорит: «Нам троим тесно на свете».

Если бы они оба остались живы... если бы я одна могла умереть! Эту ночь голова у меня болела и жар был... я плакала и молилась бо-

гу, чтоб мне умереть теперь. Потом мне самой стало страшно и жалко... мне не хотелось умирать, к тому же он бы не пережил меня.

Наутро все прошло, я стала здорова... мне сделалось еще страшнее.

Вот, моя Annette, что из меня вышло... до чего я дошла!.. Ах, если бы ты не пускала сюда твоего брата, если б ты там еще приискала ему невесту, в которую бы он влюбился! Зачем он влюблен в меня! Это бы все прошло: столько женщин лучше меня... я это ему десять раз говорила... меня только из каприза называют хорошенькою.

У меня нет росту, я похожа на маленького мальчика... если б ты видела, какие худенькие у меня руки, какая я сама стала тоненькая в это время! И глаза мои совсем не голубые, как у твоего Саши.

Я удивляюсь, как не скучает он сидеть со мною: что он нашел во мне? Я ничего не знаю, ни о чем не умею говорить. Только у Константина Александрыча доставало терпения учить меня.

Друг мой, вот самое страшное горе: давно ли я каждый день не знала, как дожидаться му-

жа, выбегала к нему навстречу, кидалась к нему на шею, утешала его моей болтовней, а теперь мне страшно подумать о нем, страшно написать ему два слова, потому что я не умею лгать. Вечером я боюсь ходить мимо его портрета.

Потому что я изменила ему, целовалась с чужим человеком, говорила ему, твоему брату, что люблю его. Что мне еще осталось? В душе моей я изменница и презренная женщина.

А между тем муж мой во всем прав передо мною. В письме своем ты описываешь его диким извергом: я не спала ночей, страшная история дуэли представлялась мне в лицах. А все-таки ты не права, Annette, я глупее тебя, я меньше видела свету, однако понимаю, что в поступке Константина Александрыча не все зло.

Разве бедная актриса, на которую напал Галицкий с товарищами, не женщина? Разве ее слава, любовь к ней публики, не была для нее всем: и утешением и хлебом, может быть?

Муж мой страшен и грозен... Боже мой, на

нем лежит кровь человеческая! Но он не жесток. А все-таки страшный конец готовится всему этому... Господи, спаси нас!.. Лучше не думать...

Посылая сюда брата, ты просила успокоить его, пожалеть о нем. Душенька моя, ты не подумала, что я не каменная, что за мною еще надо смотреть!.. Еще бы если б он явился ко мне таким, как был прежде: веселым, беззаботным мальчиком, я бы сладила с ним и сама осталась цела. А когда увидела я его грустные глаза, бледное и изнуренное его лицо... что со мною сделалось!..

А он так хорош собою! Он во сто раз лучше, чем был прежде. Как идет к нему эта мраморная бледность! Грудь его впала, а талия сделалась еще благороднее, еще стройнее... а глаза его... Боже мой, прости меня... я ли говорю это?..

Вчера ехал он на парад мимо моего окна, в каске с белым султаном, на черной лошади, которая рвалась и прыгала. Как ловко худенький его стан гнулся при каждом движении лошади, как она повиновалась ему!.. Его место впереди солдат, перед неприятелем... а он

тоскует и плачет со мною вместе!

И если бы я ласкала его для того только, чтоб успокоить его, если б я целовалась с ним только из-за того, чтоб не ввести его в отчаяние, я была бы права, по крайней мере перед своею совестью. А то нет, друг мой! Я в душе изменница, я люблю эти ласки: часто голова моя горит, сердце бьется, и мне легче только, когда я жмусь к его груди... Вечного стыда, вечного наказания для меня мало!..

К кому обратиться мне? У кого попросить совета и спасения? Писать к мужу я не могу: я стала бояться его, и как писать к нему, когда одно слово может привести за собою и страшную встречу и смерть.

Я думала просить самого Сашу, еще раз сказать ему, чтобы он оставил меня... да не значит ли это прямо высказать ему свою слабость? К тому же он не послушается... или еще хуже: послушается, и я погублю его...

Я признавалась во всем маменьке, стояла перед нею на коленях и очень много плакала... Я взяла с нее слово не говорить об этом никому. Она сначала бранила меня за неосторожность, потом слезы мои показали ей

смешными. «Ступай, цыпочка, — говорила она мне, — такие грехи еще прощаются. Все это забудется. Только помни: не выдайся больше с князем, а если увидишь его, не позволяй ему ни шагу более. Счастлива ты еще... гляди же за собою поостроже...»

Будто я могу смотреть за собою, владеть собою, когда он плачет у моих ног, целует мои колени.

Господи! Что будет со мною! Или ты не сжалишься над бедною Полинькою, не пошлешь ей своей помощи?

II

От Константина Александрыча Сакса к Полиньке

Ах ты, ветреница! Ах ты, ленивая, негодная Аптичка! Так-то ты переписываешься со старым своим мужем? В два почти месяца одно письмо! Доберусь я до тебя, пожуря тебя порядком!

Ошибок боишься наделать, что ли? Писала бы по-французски. Нет, это всё хлопоты по хозяйству, дела! Знаю! Знаю! Вот хлопоты по хо-

зяйству: поутру мы сидим в уголку кресла, происходит ревизия собак. В это время мы думаем: обманщик Костя! По его счету это значит три недели!

После хлопот по хозяйству наступают дела: мы ездим по городу, упариваем бедных лошадок. «Да шибче же, Антон, скорее, еще скорее... к тетушке Julie, к маменьке». Там встречает нас готовый курс мудрости человеческой, неиссякаемый источник морали... что твой Геттинген, что Берлин?

А вечером, та chere, вечером... Съезжаются подруги, всё ангельчики, всё незабвенные друзья. Тут и Жюльет, и Пашет, и Annette... да, Анет не в Петербурге. Позже всех являются Надин и Александрии.

И тут-то начинаются речи, полные практической философии, проникнутые глубоким познанием жизни и сердца человеческого! О, аллах, уши вянут, вчуже становится страшно.

За человека страшно мне! — [51]

как, помнишь, вопиял Каратыгин на Александрийском театре.

А впрочем, ленись себе. Я люблю людей,

которые неохотно пишут письма. Редко набегают на нас минуты душевной откровенности, а без этого что толку городить всякой вздор? Запольский пишет мне о твоём здоровье и твоих занятиях — и я спокоен. Кстати о Запольском. Пишет он ко мне, что у тебя часто бывает князь Галицкий и что, как кажется, он не на шутку в тебя влюблен. Последнее в порядке вещей: за два месяца об этом уведомил меня Залешин.

Признаться ли тебе, Полинька? — Я люблю, когда ты другим нравишься. Меня даже приятно щекотит, когда я знаю, что несколько человек не шутя по тебе вздыхают. Это дурно, но это моя слабость, моя гордость. То ли еще будет, когда мы с тобой поживем и поучимся науке жить на свете! А насчет Галицкого попрошу тебя серьезно, видайся с ним пореже, только не шути с ним, не пренебрегай им и не мучь его. Да кокетство твоё не злое, этого опасаться нечего. Мне нравится этот молодой человек, хоть он немного горд и ветрен. Нынче уже чересчур развелась порода тихих скромников, из которых ничего не выжмешь ни для жизни, ни для общества.

Больше ничего не говорю тебе. Просить тебя не забывать о старом муже, значит обидеть тебя. Наблюдай слегка за Галицким: если он заврется слишком, уведошь меня, и мы всё устроим к лучшему, не обижая его.

Долго я здесь живу, по милости проклятого Писаренки. Он или сумасшедший человек, или генияльный мошенник. Много видел я крапивного семени, а такого крючка не встречал и не понимаю. Он вертится, как бес перед заутреней, наговаривает на себя несбыточные дела, выдумывает самые невероятные отговорки, которые, однако, надо поверять, — а на поверке все оказывается чепухой и оканчивается к его же сраму. А дело все тянется и тянется: я напрягаю весь мой ум, чтобы предупредить козни злого подьячего.

Это настоящая малая война, и — чтоб дорисовать картину — тут является и любовь моя к тебе; а желание поскорее увидеться с тобою придает мне и силу и хитрость, необходимую для этой сутяжнической борьбы.

Так-то, Поля моя, все дела делаются на свете. Иной и подсмеется над этой борьбою, но я твердо убежден, что если дело освящено лю-

бовью и пониманием жизни, дела этого никто не назовет ничтожным. Кто дал нам право требовать от жизни высоких, несбыточных страстей и деяний? Поучимся лучше делать пользу вокруг себя, подсмеиваться над тем, что смешно, и мириться с жизнью на том, что она дает нам.

Чем дольше я здесь живу, тем сильнее жалею о том, что не взял тебя с собою. Тебе понравилась бы тихая жизнь городка, и лес, сквозь который вечером просвечивает солнце, и далекое озеро с пустыми его берегами.

Ты порядочная насмешница: мы посмеялись бы над здешними чопорными собраниями, над модами, утрированными до невозможности. В кругу скучных помещиков мы пожалели бы о кружке наших друзей, которые, не выезжая из Петербурга, умеют узнавать, что делается во всех концах вселенной, оттого в иной земле пляшут и веселятся, в другой голодают или режутся.

А потом мы бы сошлись с этими простыми людьми, отыскиали бы в их загорелых лицах следы прошлого горя или настоящей страсти: нашли бы между ними людей замечатель-

ных, практических — и добрых философов. Всякой из них был бы интересен для нас: не настоящими своими делами, так прошлыми, потому что — кто из людей хотя раз в жизни не бывал занимателен во всем смысле слова?

Полно нам с тобою жить в столице. Воротясь отсюда, я возьму долгий отпуск или выйду в отставку. Тогда мы с тобой немножко порыскаем по свету, а то я начинаю бояться, не засиделись ли мы с тобою. Сначала, если хочешь, поедем мы по России, посмотрим ее города и городки, ее широкие реки, поостранствуем по пескам, на которых со скрипом покачиваются высокие сосны. Поглядим и на Кавказ: по рассказам он надоел нам через меру, — а в самом деле видеть его очень стоит.

Из Одессы проедем мы в южную Францию и начнем путешествие наше с того края, в котором обыкновенно путешественники проматываются до последней копейки и потому не едут далее. Мы очень много не будем ездить. Италия, Франция, Швейцария, южная Германия — с нас и этого будет довольно.

А в увенчание всего поселимся в нашем имении; только после наших поездок и разго-

воров о виденном ты уже не станешь меня спрашивать: «Да что мы будем делать в деревне?»

Что это за новости? Я строю воздушные замки, смотрю за два года вперед? Это твоя заслуга, Поля: ты дала мне и свежесть и молодость: а то я начинал было порядком стариться. Подожди немножко — я за это расплачусь с тобою.

Надобно же сообщить тебе о моих занятиях подробнее: и, к счастью, сегодня я могу рассказать тебе не совсем пустую историю.

Со мною, как ты знаешь, занимается чиновник, с виду похожий на какую-то забавную птицу. Ты еще подсмеивалась над ним, — видел я, плутовка! — когда он садился со мною в коляску. И подсмеивалась только за то, что он ковыляет ногою и говорит тоненьким голоском.

А он человек трудолюбивый, хоть по душе не очень достойный. Имя у него странное: Фиф. Откуда происходит эта фамилия, решительно не знаю: однако он русский. — Я взял его с собой из странной прихоти: мне стоит взглянуть на него — и припомнить тебя так

живо, как будто бы я видел тебя в зеркале. Оттого ли это, что ты смеялась над Фифом, когда я в последний раз тебя видел, или оттого, что он похож на птицу, а тебя называю я птичкой?.. Одним словом, тут есть странное сплетение мыслей.

Впрочем, Фиф человек тихий и способный к делам. Сперва он вертелся около Писаренки и увещевал его, потом говорил со мною насчет излишней моей строгости. На это я отвечал вежливую просьбою не соваться в это дело.

Но Фиф все егозил. Вчера объявил он мне, что жена г. Писаренки желает меня видеть, и по этому случаю рассказал мне, сообразно своим понятиям, печальную историю этой женщины.

Она, так же как и ты, воспитывалась в каком-то блестящем женском училище. Во всех науках была она постоянно первою, и способности ее так всех удивляли, что одна благодетельная душа давала ей на свой счет уроки итальянского языка — чрезвычайно полезной науки для дочери инвалидного поручика.

То была девушка с душою, с сильным ха-

рактером, с аристократическим инстинктом, который так страшно возмущается от всего, что грязно и скудно.

Можешь представить, каково было положение бедной девушки, когда, по окончании курса, из высоких зал пансиона перешла она в бедный уголок своих родителей. Места в наше время трудно достаются, и ей пришлось жить дома. Ты поверишь мне, что как ни крепилась бедная девушка, родительский дом скоро показался ей адом.

А вся семья их была и честна и благородна. Отец, заслуженный, храбрый солдат, имел один только недостаток: он любил подгулять. Мать ее, добрая, тихая женщина, поминутно горевала, плакала и жаловалась на нужду.

Полинька, Полинька! Ты не знаешь всего ужаса бедной, нечистой жизни, в духоте и тесноте, среди недостатка и горьких сетований. Твои родители не блещут нравственными достоинствами, зато они по крайней мере богаты. Будь и за то благодарна судьбе.

Перейдем к бедной нашей девице. Не знаю, поймешь ли ты, Поля, отчего в энергических душах, особенно у женщин, мрачная

сторона семейной жизни отзывается страшнее. Тихая девочка потосковала бы и привыкла, — наша же героиня тосковала и ожесточилась: ожесточилась на судьбу, ожесточилась на свое семейство. Грязная эта жизнь, вечная нужда наполняли душу ее невыносимую горечью.

Она страстно была предана своим родителям, но любила их порознь или вне дома. Когда старый отец возвращался домой в унижительном состоянии, когда жалобы и плач матери вызывали его на ссору и упреки, тогда бедная девушка уже не любила их. Сердце ее рвалось, она страдала и ужасалась самой себя; но в эти минуты она почти не видала своих родителей.

Мудрено ли, что она кинулась на шею первому соблазнителю, ослепившему ее богатством и обещанием вывести ее из этого чистилища? Как водится между лучшими из знатных волокит, любовник передал ее, с приличным приданым, в супруги Писаренке, тогда еще мелкому чиновнику.

Писаренко в те времена был еще хуже, чем теперь. То был мелкий, грязный взяточник, а

сверх того и пьяница. Ты думаешь, что бедная девушка, о которой идет наша речь, возненавидела его? помышляла только, как бы его оставить?

Ни то, ни другое. Для нее наступила пора примирения с жизнью, горького примирения, надо сказать правду. Она сделала для Писаренки то, чего прежде не в силах была сделать для отца. Она отучила его от невождности, привела в порядок хозяйство, возилась с мужем как с нравственно больным, одевала детей как куколок и сама воспитывала. Я думаю, любовь к детям и была причиною перелома в ее характере.

Не понимаю, как не отклонила она мужа от излишней симпатии к казенным деньгам. Муж боится и уважает ее и делает все, что она захочет. Может быть, она не вникала в образ занятий своего мужа, может быть, остаток слепой ненависти к обществу, неминуемый след горестной юности, мешал ей противиться.

Продолжаю мой рассказ.

Сегодня утром Фиф привел ко мне бледную высокую женщину с двумя мальчиками лет

по двенадцати. Это и была г-жа Писаренкова. Она низко мне поклонилась и робко, но внимательно оглядела меня. Я попросил Фифа поводить детей ее по саду и усадил ее в кресло.

Ей понравилась моя внимательность к тому, чтобы дети не слушали неприятного разговора, она подошла ко мне и взяла мою руку обеими своими руками. На глазах ее видны были слезы. Я едва уговорил ее сесть на место, и она передала мне свою просьбу.

Она просила не за мужа: ей была известна и вина его и мера наказания. Одно, что сокрушало ее еще более, была мысль об участии детей. Они были свидетелями тяжкого процесса, видели каждый день отца своего раздраженным и огорченным. А когда дело кончится, из каких средств дать им воспитание? Что из них может выйти?

Я слушал со вниманием, и добрая мысль мелькнула в моем уме. Но бог знает, привели бы я в исполнение эту мысль, если б здесь не замешался собственный мой интерес. Слушай же и смотри, какими путями добрые дела делаются на свете.

Мне пришло в голову: если я сделаю услугу

этой женщине, она может уговорить своего мужа поскорее сознаться и не путать дело без всякой надобности.

— Ольга Ивановна! — сказал я ей. — Правительство наше не взыскивает с детей за ошибку или проступок отца. Впрочем, мне частью понятно ваше затруднение: мужу вашему или некогда, или некого просить о детях, и он боится отказа. Завтра же, не откладывая в долгий ящик, пошлите обоих мальчиков в Петербург, а я дам вам письмо к нашему министру, которому объясню все эти обстоятельства.

Бедная женщина плакала и хотела целовать мои руки.

— Когда они будут поступать на службу, — продолжал я, — припомните мне. У меня есть и кредит и знакомство, мы им дадим дорогу по их способностям. Остальных детей лучше вам воспитывать дома, по крайней мере пока состояние ваше яснее не обозначится.

Она поняла намек очень хорошо и оценила участие более, нежели услугу.

Теперь собственный мой интерес выступил на сцену.

— Ольга Ивановна! — сказал я опять. — Передайте мужу вашему дружеский мой совет. Зачем он тянет дело и мешает следствию? Даю вам честное слово: он ничего не выиграет. Пусть же лучше он сознается и развяжет мне руки. Вам я скажу по секрету: мне хочется быть скорее в Петербурге. У меня осталась там жена, о которой я думаю всякой час и всякую минуту.

Затем мы расстались.

Вот, Полинька, как люди кривят душою, делают добро из эгоизма, вступают в переговоры с неприятелем, а все из-за того, чтобы поскорее поглядеть на твои плутовские глазки.

Прощай же, дитя мое, ma petite rose blanche [52], если что случится, напиши.

ГЛАВА VI

Через день после отправления этого письма Константин Александрыч суетился и одевался в своей спальне. Красное утреннее солнце еще не начинало припекать, а Сакс имел обыкновение вставать поздно. Хлопоты его заставляли предполагать какое-то особенное событие.

В низенькой комнате, исправляющей должность рабочего кабинета, сидели и ждали Сакса известный нам Фиф и еще одно лицо, важное по влиянию своему на ход нашего рассказа.

То был старик почтенного вида, с седой головой; на носу его надеты были синие очки. Вся фигура его отличалась удивительною подвижностью. Он не мог сидеть на месте, не мотая время от времени головою, не подергивая руками и не дрыгая ногой. Неприятная эта вертлявость составляла странный контраст с его старым лицом, чистым, холодным и синеватым, как лед. На этот раз, впрочем, вертлявость эта была довольно понятна. Старичок был в большой душевной тревоге. Из-

редка он вздыхал и при этом случае ощущывал боковой свой карман.

— Так-то, почтеннейший Степан Дмитрич, — говорил тоненький голосок Фифа, — помучили вы таки нас! Сколько лошадок заморили, сколько бумажечки мы поисписали.

— Да что, — отвечал Писаренко медлительным басом, — все бы один конец был. Да и кто злом за добро платит? Сами знаете, пришла жена... плачет, рыдает. Иди, говорит... а у меня сердце повернулось...

— Ну, да бог милостив, — начал опять Фиф, — перемелется все, мука будет. А уж о детках будьте спокойны: положитесь на Константина Александрыча (тут он возвысил голос); это ангел, не человек.

— Знаю, почтеннейший, со вчерашнего дня знаю... Да что же он не идет?

— Одевается еще. Он у нас щеголь: в новом фраке выйдет.

— Говорила мне Ольга Ивановна, — заботливо спросил Писаренко, — у него жена в Петербурге осталась?

— Да, есть женка. Вертушка, как пятилетний мальчик. А уж хороша-то: просто розан-

чик. — Эти слова Фиф произнес гораздо тише, нежели мнение свое об ангельской натуре Сакса.

— Так и думал я... — И на лице Степана Дмитрича выразилось мучительное беспокойство. В это время отворилась дверь, и Сакс вышел.

— Благодетель, отец родной! — закричал Писаренко, бросаясь на Сакса с таким умиленным видом, что тот переконфузился. — Бог пусть наградит вас...

— Это дело частное, — вежливо отвечал Константин Александрыч, — оно не мешает главной нашей цели. Вы, говорят, покончили наши дела?

— Все кончено, — сказал Фиф и подал Саксу несколько бумаг.

— Ну, слава богу, — сказал Константин Александрыч, кончивши их пересмотр, — скажите же мне, Степан Дмитрич, по совести, что побуждало вас так долго вести это дело, к собственной вашей невыгоде?

Степан Дмитрич подошел к нему ближе. Что-то вроде слез заблестело под его очками.

— Константин Александрыч, — произнес

он, — благодетель мой, будьте добры до конца. Я покаюсь перед вами во всем: дай бог, чтоб еще время не прошло.

Писаренко искоса взглянул на дверь соседней комнаты. Сакс догадался, что он просит особого разговора, и повел его в свою спальню, к великому огорчению любопытного Фифа. Пробираясь за Саксом, Писаренко вынул из бокового кармана какую-то бумагу.

То было письмо князя Александра Николаича Галицкого, которое вы можете отыскать в четвертой главе моего рассказа.

Покаяние Степана Дмитрича было полное. Он даже утирал слезы, выходя из комнаты. Сакс окончил некоторые формальности, подписал донесение и к вечеру уехал из ***ова. Никакого особенного беспокойства он не чувствовал.

А страшное горе ему готовилось. На свете водится так, что радость приходит к людям или несвоевременно, или бестолково, или очень медленно. Ее не утискаешь в роман или повесть, не прикрасив по-своему. А зло движается так ровно, так гладко, так кстати, что само напрашивается в печать или на сце-

ну.

В тот самый день, когда Сакс въезжал в Петербург, во ***ов пришла петербургская почта. Один из пакетов адресован был на имя статского советника Писаренки.

Степан Дмитрич раскрыл его среди улицы, и руки его задрожали. Там лежал ломбардный билет в тридцать пять тысяч да измятый лоскуток бумаги. На лоскутке этом торопливою рукою написано было: «Довольно».

Затрясся Степан Дмитрич и в порыве благородного негодования бросил ломбардный билет на землю. Записку расщипал в мелкие клочки.

Потом постоял, подумал немного, поднял билет и положил его себе в карман.

— Не я, так другой, — пробормотал он сквозь зубы и направил путь восвояси.

ГЛАВА VII

Следуют три письма, из которых два неудобны к печати, по некоторым подробностям, и еще одна записка такого содержания:

«С великим неудовольствием увидел я вас, князь Александр Николаич, вчера ночью под окнами моего кабинета, потому что в расположении моей квартиры сделал я некоторые изменения. Не чувствуя симпатии к предприимчивым гидальгам[53], я должен вам сознаться, что встреча с вами не в состоянии доставить мне ни малейшего удовольствия. Завтра я переезжаю на дачу, которую предоставляю вам отыскивать, сколько вам угодно. Не мешало бы и вам уехать из Петербурга, где малейшая ваша нескромность может принести вред нам обоим. Вы догадываетесь, что это не последнее мое слово. Повторяю вам, через месяц мы увидимся с вами. В половине следующего месяца вы получите мою записку, там найдете мой адрес и время, назначенное для свидания. А до тех пор молчите и молчите.

К. Сакс».

А вот одно из тех писем:

От К. А. Сакса к П. А. Залешину

Прошло уже две недели, две страшные недели, и я не решился еще... в голове моей нет никакого плана, я готов на себя смотреть как на сумасшедшего человека.

Спасибо тебе за скорый ответ, за твое участие и внимательность; больше не за что тебя благодарить: советы твои никуда не годятся.

Я с жадностью раскрыл твое письмо, колебание души моей так сильно, что добрый совет, думал я, может склонить все дело на худую или хорошую сторону; к несчастью, я горько ошибся.

Я еще в силах разобрать твои доводы. Ты оправдываешь жену мою, хочешь весь гнев мой обратить на Галицкого. Друг мой, жена моя не нуждается в оправдании, скажу тебе более: и Галицкий прав.

Да что же мне из этого: разве в моем положении идея о справедливости доступна до меня, разве она может получить практическое применение? Я знаю без тебя, и *она* права, и *он* прав, и я буду прав, если жестоко отомщу

им обоим.

Раненый солдат с бешенством лезет на неприятельскую колонну: разве он думает о том, что может убить не того человека, который его ранил? что даже и ранивший его не виноват перед ним?

Я в отчаянии, я хочу мстить, и придет ли мне в голову подумать о результате моего отчаяния?

Да что я говорю: я хочу мстить! В том-то и дело, что у меня нет решимости даже на это злодейское намерение. А если б была решимость, у меня нет средств для мщения. Что мне делать с этим ребенком, который сам не понимает того, что он настряпал! Не армянин же я, чтоб похаживать с кинжалом около «злодея» и «изменницы»[54], я не обладаю тем искусством, с которым иной важный господин умеет каждую минуту терзать несчастную свою жену, заставляя ее платить годами мучений за час заблуждения, да еще заблуждения ли?

Ты говоришь, чтоб я призвал на помощь свой разум и обратил бы его против страсти. Ты советуешь мне призвать на помощь и фи-

лософию, и остатки идеальных чувств, и привязанность к когда-то любимым теориям. Ты как будто забыл, что я человек, и человек влюбленный, — что доктринерствовать и строить теории легко на литературном вечере, легко в романе, а не в жизни... Призвать разум! Да против кого? Не против страсти ли? Хорошо, если бы дела шли так ровно и разум знал бы только бороться со страстью. А во мне разум борется с разумом, страсть идет против страсти, я распался на два разума, страсть моя разделилась надвое, и страшное междоусобие это не кончилось, и я не знаю, чем оно кончится.

Я могу решиться на позорное дело, несмотря на мое отвращение к злодейству, могу кончить любовь мою жалкою трагедиею, но среди всеобщей ненависти, я знаю, ты один не обвинишь меня; я раскрыл перед тобою состояние моего духа.

Я не могу отвечать и за следующий день; может быть, я явлюсь героем великодушия; — люди поглупее окрестят меня графом Монте-Кристо, пламенные юноши почтут меня новым Жаком[55], только ты один знай, что в

моих поступках не может быть ни злодейства, ни великодушия...

Я слаб перед судьбою: пусть обстоятельства решают и мою, и ее, и его участь; я умою руки; у меня нет сил действовать!

Ты кончаешь свое письмо язвительными выходками против Гименея, восхваляешь мне выгоды гордого одиночества, говоришь, что права женщин святы, что женской любви никто не предписывает законов...

Прекрасные речи, дельные, хоть давно избитые замечания, а за ними опять «право», опять отвлечения, опять холодные истины!..

Какая мне нужда до прав женщины, что мне за надобность знать теорию любви, изведать ее основные законы. Все это слова и слова.

В настоящую минуту для меня не существует ни общества с его предрассудками, ни женщин с непризнанными правами. Общество может оскорблять меня, может хвалить меня, женщины могут все исчезнуть с лица земли, могут возмутиться против мужчин, положение мое ни на волос не переменится от всего этого.

Я так же буду силиться, изнемогать и колебаться, так же буду плакать по ночам; я буду плакать, я, с моею плешивою головою!

Оттого, что нас только трое во всем мире: я, Полинька и Галицкий. Я бы хотел дорожить мнением общества, я б хотел вступить за так называемое «опозоренное имя мое», может быть, предрассудок этот дал бы мне силу действовать.

Довольно разбирать твое письмо; я чувствую, как исчезает минутный проблеск хладнокровия: горячая кровь подступила к моему сердцу, она идет выше, давит мне горло, пальцы мои холодны, как лед... тоска начинает грызть меня.

.....

Стыдно, стыдно унывать!.. Я собираюсь опять с силами.

Сейчас воротился я из ее комнаты. По моему распоряжению, она сказывается больною, никто из знакомых не знает, приехал ли я в Петербург и где живу я теперь. Иначе нельзя поступать; чем бы ни разыгралась моя история, секрет строжайший необходим, да и хранить его нетрудно.

Теперь только, сообразив все прошлое, понял я, какая широкая пропасть отделяет Польинькину натуру от моей. В счастья я сам себя обманывал, а теперь, при первой беде, все открылось передо мною. Довольно взглянуть на теперешнее положение жены моей, чтобы понять, что все между нами кончено, что нам не сойтись более.

Горесть ее трогательна, жалка, но как далека она от горести разумной! Она плачет целый день, если я говорю с нею, она отвечает мне так, как подсудимые отвечали великому инквизитору. Иногда на нее припадает охота молиться, долго, долго... Она уверена: преступление ее так ужасно, что и в аду не сыщется для нее места!

Сообрази все это и пожалей обо мне. Нет надежды на соединение, нет надежды на *забвение*... любовь для меня кончилась, пьеса разыгралась и не возобновится...

Один вопрос меня терзает: что значит любовь ее к Галицкому? Правильное ли это стремление двух страстных юношеских натур одна к другой, истинная ли это, продолжительная ли страсть?

Или это одна неосторожная вспышка, «кончившаяся падением», как говорят романисты? О, если б оно было так! Я бы сумел воротить прошедшее, зажать рот Галицкому! Такая любовь, как моя, не распадается с одного разу.

С этой мыслью я пришел в Полинькину комнату вчера вечером. Она сидела и плакала. Я начал говорить с нею твердо, но ласково.

— Дитя мое, — сказал я ей, — не из пустяков ли ты горюешь? Забудем на полчаса прошлое: вообрази, что я твой доктор и что ты больна в самом деле.

Она глядела на меня с ужасом. Я был уверен, ее расстроенному воображению пришла на мысль история мужа, который, под предлогом болезни, запер в желтый дом «коварную изменницу».

Я продолжал, усиливаясь хранить свое спокойствие:

— Наш разговор будет несколько тяжел. Что же делать, друг мой? Надо смело глядеть в глаза беде, не прятаться от нее, не плакать... Скажи мне просто и откровенно: любишь ли ты Галицкого?

Она стала плакать, просила пощадить ее, не говорить с ней, изъявила готовность умереть, чтобы смыть с моего имени страшное пятно...

Я стиснул зубы и начал выходить из себя. Однако я понял, что последний вопрос мой был слишком тяжек: понемногу я стал наводить речь на знакомство ее с Галицким, стал спрашивать о его поведении, о ходе его страсти. Вдруг Полинька упала передо мной на колени, схватила мои руки.

— Он не виноват, — говорила она, — это я погубила вас обоих, я одна всему причиною; он еще молод, он дитя, ты простишь его... пусть я одна погибну...

Вот к чему вела меня моя заботливость! Вот в какую сторону перетолковала она мои расспросы... Слышишь, она его погубила! О женщины, женщины! О милое самоотвержение!

Злоба захватила мое дыхание, сердце мое сильно билось. Вражда, бессознательная, беспричинная вражда наполнила всю мою душу. Я бы хотел растерзать это милое существо, которое плакало передо мною, которого вся ви-

на состояла в том, что оно не могло понять меня... Я отдал бы жизнь, чтоб на один час сделать женщину из этого ребенка, чтоб поселить в ее душе страсть ко мне, чтоб заставить ее вымаливать у меня любви и чтоб с черною радостью отвергать ее порывы, все сокровища только что пробужденной души.

Я никогда так низко не падал, как в эту минуту; но я преодолел себя и ушел из ее комнаты.

Пробовал я пустить к себе Галицкого и расспросить его. С первых слов он понес ахинею страшную. Я почти выгнал его; он ночи простаивал под Полинькиными окнами, так что я, во избежание скандала, переехал на дачу.

Теперь ты понимаешь мое положение, добрый Павел Александрыч. Мало мне своего горя: все мои попытки действовать падают и разрушаются. Никто меня не понимает, я похож на человека, приехавшего в незнакомый край для очень важного дела. Напрасно он бьется и хлопочет: всякой от него пятится, всякой боится в нем врага, а если и говорит с ним, то говорит каким-то непонятным языком...

Следовательно, пора кончить мое письмо. Я высказал мое положение и не могу прибавить ни одного слова. Во всяком случае, на что бы я ни решился, ты не останешься без уведомления.

А пора бы чем-нибудь кончить это дело...

ГЛАВА VIII

I

От Полинки Сакс к т-те А. Красинской

Что я напишу тебе, друг мой? Я жива еще и здорова, по крайней мере телом здорова. Родные мои и знакомые думают, что я больна. Я сижу целый день одна, обложившись подушками. Так приказал он, Сакс.

Спасибо тебе, ангел мой, что ты не презираешь меня, что ты отвечала на несчастное письмо мое [56] и позволила писать к тебе. Без этого я бы впала в отчаяние: все отступилось от меня, страшная неизвестность меня давит.

Что будет со мною? Когда разразится над нами мщение оскорбленного мужа? Что будет с ним? Боже, сохрани его только!

Он жив. Я получила от него записку через мою Машу. Его также мучит страшное ожидание, он боится за меня... Сакс сказал ему то же, что и мне: «Через месяц ровно мы уви-

димся все и порешим это дело».

Странные слова! Какой гибельный смысл в них заключается? Что говорил нам взгляд этот, странный, неумолимый, холодный его взгляд? Что значит жизнь, которую он стал вести, эти чудные хлопоты и приготовления?

Брат твой писал, что он каждый день искал Сакса по городу, хотел узнать его намерения, напроситься на скорый конец дела, предложить ему удовлетворение и просить за меня.

Напрасный труд! Никто во всем городе не знает, где Сакс и что у него случилось в доме.

Слава богу, никто еще не знает обо мне, не проклинает и не презирает меня!

Ближайшие знакомые все уверены, что я больна и что мы на даче.

Мы точно на даче, но что это за дача! На отдаленном берегу Невы, в дремучем лесу, стоит этот дом, старый, огромный, безлюдный. В нем только я с моею горничною да Сакс с старым своим дядькою. Он уезжает чуть свет и возвращается поздно ночью. Лошади его храпят под моими окнами, шаги его слышатся по коридору. Ко мне заходит он

только, если со мною Маша, заботливо спрашивает о моем здоровье, как будто я больна в самом деле. Перевезли меня на дачу эту вечером, в карете, наложенной подушками. Маше не запрещено исполнять мои поручения и даже носить письма, но ей страшно заказано сказывать кому бы то ни было, где мы живем. Я сама упрашиваю ее молчать: зачем губить с собою бедную девушку?

А грозный срок приближается. Через неделю кончится месяц... Боязнь отнимает у меня всю память о моей вине, я не могу плакать и раскаиваться... Что ждет нас через неделю? Что будет с Александром? Больше ни о чем не могу думать...

Страшные картины грезятся мне и во сне и наяву. Ты помнишь романс о черной шали [57], по которому нас маленьких учили петь? Недаром я боялась этой песни, в которой беспрестанно говорится про кровь... А потом, помнишь ты страшную книгу, в которой рассказывалось, как муж нашел у жены любовника и велел камнями заложить двери комнаты, в которой он спрятался? Обо всем этом мне и снится и думается...

Кто разгадает этого грозного и непроницаемого человека? В полтора года замужства я не сумела понять его... Бог один ведает, что у него на уме...

А обида была так тяжка... Боже мой, боже мой!

Что делают родители мои? Помнят ли они обо мне? Не проклинают ли они меня? На все письма мои к маменьке не получила я ответа. Неужели она не жалеет обо мне? Я бы не так поступила с моей дочерью.

Разве я забыла мою обязанность нарочно затем, чтоб оскорбить мою мать? Разве я мало боролась и мучилась перед моею гибелью? Или я не стояла перед нею на коленях, не просила ее защиты? Маменька, пусть бог простит тебя.

Вчера вечером вошли в мою комнату какие-то люди с угрюмыми лицами. Старший из них сел возле меня и говорил мне что-то о супружеской обязанности... о чем-то спрашивал. Со страху и от стыда я ничего не понимала.

Вдруг вошел Сакс, еще угрюмее, еще мрачнее, нежели в тот день... Он сделал знак

страшным людям и увел их от меня. Долго слышала я их голоса над моею головою: они о чем-то спорили, потом замолчали. Я вся дрожала.

Опять отворилась дверь, вошел Сакс с бумагою в руках.

— Полина Александровна, — сказал он, — исполните ли вы мою просьбу? Ручаюсь, что она будет последняя. Подпишите эту бумагу не читавши: в ней идет дело о чести вашей... больше я ничего не скажу.

И опять тот же холодный, непонятный взгляд. Кто устоял бы против этого взгляда? Я подписала бумагу, он поклонился и вышел.

Была ночь, я подошла к окну. Нева бушевала и плескалась под самым домом, старые ивы длинными ветками нагибались до воды. Сучья каких-то серых, игловатых деревьев врывались в окно. А на всем берегу росли сосны, и невдалеке мелькал между ними белый крест. Что-то ужасное случилось когда-то на этом месте. А что еще готовилось!

Боже мой, скорее бы прошла страшная эта неделя. Пусть будет что будет. Спаси только его, моего Сашу...

Какое право имеет этот жестокий человек меня мучить? говорить, что я больна, отдалять меня от родных, от всякой помощи? Зачем окружает он меня тайною, зачем дал он нам длинный, тягостный срок?.. Или я раба его, или я не человек, или я не равна ему? Кровь моя кипит, смелые мысли бродят в голове, только, бог свидетель, я не о себе думаю... я преступница... я возмущаюсь только, когда думаю о его участи. Ах! Маша несет мне записочку. Это от него! Я скажу тебе, что он пишет.

«Будь покойна, моя Полинька, я здоров и смел. Я готов на все и заранее обдумал все, что может случиться. Через неделю все развяжется. Только не жди больших бед: в наше время не случается слишком страшных историй».

В наше время!.. Да разве в наше время есть такие люди, как Сакс, разве в наше время бывают такие преступницы, как жена его?..

**От князя А. Н. Галицкого к т-те Ап.
Красинской (Через неделю после
последнего письма)**

5 часов утра.

..... Тебя удив-
•ляют все эти распоряжения: они сильно пах-
нут духовным завещанием. Надо быть гото-
вым на всякий случай. Ты, верно, догадалась,
в чем дело.

Сегодня ночью получил я записку от Сакса. В ней написан был адрес и наставление, как отыскать его дачу. Эк в какую глушь его затащило! Потом была приписка такого содержания: «В семь часов утра. Князь Ал. Ник. догадается отпустить лошадей, не доезжая за версту». Данный им срок кончился: это было приглашение на обещанное свидание.

Взвесивши оскорбление, любовь человека этого к жене и железный его характер, скажи мне, сестра, чего могу ждать я от назначенного свидания? На злодейство Сакс не решится, но что же значит его странное приглашение

приехать так рано, в такую глушь, совершенно одному? Признаюсь тебе откровенно, я жду или дуэли в двух шагах, или какой-нибудь подобной проделки, изобретенной для того, чтобы смыть пятно, которое ничем не смывается, кроме крови.

Я бывал, в опасностях и не раз ходил на завалы, напевая песенки дорогого моего Беранже, а теперь я чувствую себя не совсем спокойным. На войне дело другое: там и шум, и увлечение, и грозная природа Кавказа. А здесь вокруг меня весь город спит так беззаботно, мутный рассвет глядит в мои окна, все так просто и тихо.

Изо всей массы здешних жителей передо мною одним воображение рисует раздраженного врага с неумолимым взглядом, которого выдержать не смигнувши не может глаз человеческий.

Ночью я мало спал: кое-что написал, кое-что сжег, думал о Полиньке... правда, когда же я о ней не думаю? С постели встал я охотно и бодро, как водится при случаях, если сон не приносит нам спокойствия.

Только серое утро невыгодно подейство-

вало на мою бодрость: было темно, хотя солнцу следовало быть довольно высоко. Мелкий дождь и туман портят погоду совершенно. Несмотря на август месяц, трудно узнать, стоит ли у нас весна, лето или осень.

Лошади готовы. Прощай же, сестра, если я не вернусь, письмо перешлет тебе мой Иван. Не забудь моих поручений.

12 ЧАСОВ НОЧИ

Сестра, я с ума схожу... я болен, я не знаю, как писать тебе, с чего начать, как все высказать... Я...

Нет, я удерживаюсь, я зову на помощь хладнокровие, рассказ мой будет длинен и ровен, пусть ты испытаешь хоть частичку того, что испытал я сегодня.

Без всяких дальнейших приготовлений я выехал из дому, по дороге к Шлиссельбургу. Проехав порядочный конец, мы своротили с дороги, поближе к Неве. Рассчитав расстояние и поверив места, я вышел из коляски и велел кучеру отъехать к большой дороге. Сам я отправился влево, к старому английскому саду, который мало чем отличался от леса.

Я не ожидал встретить вблизи от Петер-

бурга такое полное, такое унылое запустение. Старые деревья повалились на землю, гнили спокойно, и никто о них не заботился, лужайки поросли мелким березником. Дорожки все заросли, и отличить их можно было только по тому, что трава на них была ниже и росла ленивее.

Скоро открылась передо мною Нева. Густой сосновый лес рос по всему берегу, будто на первых порах основания Петербурга. Другого же ее берега не было видно: туман еще и не думал подниматься, и, по его милости, Нева, узкая в этом месте, показалась мне безграничным океаном.

Место это было так пусто, смотрело таким зловещим, что я, признаюсь тебе, попробовал рукою, хорошо ли вынимается тупая моя шпажонка.

Оглядевшись хорошенько, я заметил на правой руке, около самого берега, высокий барский дом, который чуть выглядывал из-за кучи елей и сосен. Здесь жила моя Полинька, здесь ангел мой тосковал и молился за меня. Кровь моя кипела, я воображал себя Амадисом, Роландом[58] или испанским красавцем

под окнами у своей любезной, в виду ревнивого ее мужа.

Дом был красив, но мрачен и стар. Пристройки почти все обвалились, гардин не было ни в одном окне; их должность исправляли сосны да ели, верхушки которых превышали это огромное строение.

Я зашел с одной стороны: ни ворот, ни дверей, ни души человеческой. С другой — тоже. Я рассердился. С третьей стороны отыскал я дверь, постучался и opravился.

Старый лакей отпер мне эту дверь и низко мне поклонился. Грустная его фигура согласовалась с местностью. Не давши сказать мне слова, он повел меня через анфиладу высоких и пустых комнат.

Мебель была в них во вкусе времен екатерининских, старая и запыленная. Портреты мужчин в париках и напудренных дам таинственно поглядывали с потемневших стен на давно не виданного посетителя.

Мы прошли через длинную залу, где во дни оны похаживали знатные боярыни с веерами и петиметры[59] в шитых кафтанах, а потом очутились в длинном и темном коридоре.

доре.

— Первая дверь налево, — сказал мне старик и затем исчез, будто сквозь землю провалился. «Diable! C'est un coupegorge!» [60] — подумал я.

Не удивляйся моему терпению описывать подробности: теперь я понимаю их высокое значение, их необходимость. Сегодняшний день во всю мою жизнь будет мне представляться так же ясно, как в настоящую минуту.

Я отворил первую дверь на левой руке. Меня встретил Сакс. Он был бледнее обыкновенного, та же холодность, то же непроницаемое бесстрашие на лице.

Мы поклонились друг другу.

— Князь, — спросил он, — вы отпустили лошадей по моему совету? Осторожность необходима.

— Я шел пешком версты полторы.

— Хорошо, садитесь. Благодаря вашей скромности я доволен этим месяцем. Ни одна душа не знает наших дел. А теперь потолкуем на досуге.

Он позвонил. Вошел тот же старик, который вел меня. Сакс дал ему шепотом какое-то

приказание.

Я оглядывал эту мрачную, высокую комнату со штучными[61] стенами, с черными шкапами, за которые любитель старины барон*** дал бы страшную цену. Кроме стола, завалянного бумагами, кожаного дивана и двух таких же стульев, не было в комнате никакой мебели. На шкапах стояли бюсты каких-то людей с железными физиономиями, с гладко причесанными длинными волосами.

Легкой шум послышался за дверью. Я бы за версту угадал эту божественную походку. То была она — мой ангел, Полинька.

Дверь отворилась; это была она, моя красавица, мое дитя, мое сокровище. Она приветно вскрикнула, увидевши меня; на бледном ее личике загорелся румянец.

Она похудела, но немного. Здоровый воздух от сосен, от близости воды не дал ей изнемоечь под бременем горя. Хвала Саксу, вечная хвала этому великому человеку!

Он показал ей на стул возле меня и сам сел на диван. Полинька переглянулась со мною, мы в одно время сдвинули ближе наши стулья... Кто бы мог вырвать ее из моих рук?

Сакс видел это и грустно улыбался.

— Александр Николаич, — сказал он, обращаясь ко мне с видом упрека. — Я не ожидал от вас, что вы станете пугать бедную Полину Александровну. Что за вечные записочки? Что за толки о роковом сроке, о страшном свидании? Или мы живем в Мексике или при феодальном правлении?

Я хотел отвечать.

— Речь ваша впереди, — сказал он с некоторою досадою. — Мне надобен был этот месяц, чтоб наблюдать за вами и кончить одно дело. Полина Александровна, — тут он встал со стула. — Вы совершенно свободны. Вы более не замужем.

Он подал мне бумагу. Ты понимаешь, что это такое было... Где найти благодарность, достойную этого великодушного человека!..

— Теперь же, — сказал он Полинке, — вы поедете к матушке вашей на дачу. Я предупредил ее, и послезавтра вы поедете за границу. Князь Александр Николаич возьмет отпуск и найдет вас там.

— Я выйду в отставку... — чуть мог заметить я с глупейшим видом.

— И прекрасно, — отвечал Сакс. — Тысячи глаз будут смотреть на вас в надежде потешиться скандалом. Обвенчайтесь без шуму и живите долее за границую.

Только в эту минуту разобрала Полинька все величие поступка своего мужа. Бледная как смерть, она упала к его ногам и плакала перед ним так, как плакал я в тот вечер... ты помнишь.

Я стоял как дурак, ноги мои не двигались, язык не шевелился. Сакс хотел поднять Полиньку, она не вставала с пола, противилась ему, как делают упрямые ребяташки. Сцена эта была слишком тяжела для Константина Александрыча: он отошел от Полиньки.

Он подошел ко мне, и голос его, резкий, быстрый короткий, торжественно раздался в пустой комнате, как команда ловкого начальника перед неподвижными батальонами.

— Князь, — сказал он, — вы разом отняли у меня жену и дочь. Вы отняли жизнь мою. Не думайте, что ребенок этот даром вам достался: я не надеюсь на вас! Помните, что б вы ни делали, два глаза будут смотреть за вами, где бы вы ни были, я буду шаг за шагом следить

за вами. Вы берете мое дитя — не женщину. Горе же вам, если мое дитя не будет счастливым.

Слышно было, как слова эти теснились у него в горле, он торопился высказать тяжкое свое прощание.

— Я говорю вам просто и открыто: я буду видеть всю жизнь вашу. При первой ее слезе, при первом ее вздохе, при первой ее горести — вы человек погибший.

Он повернулся и хотел выйти. Но Полинька не пускала его, загородила ему дверь, рыдала, тряслась и не могла сказать ни слова. Радость и раскаяние страшно подействовали на бедного ребенка... в эти минуты я ревновал Полиньку к Саксу.

Мы ее подняли. Во все это время я не смел сделать ни одной ласки милому моему дитяти, не смел поцеловать его.

И Полинька меня понимала.

Я видел из окна, как Сакс и старый дядька провели ее к карете, посадили, или, лучше сказать, положили ее туда.

Несколько минут в странном оцепенении я все еще ждал Сакса. Я видел, как дрожки его

промчались за каретою, и все-таки не мог отойти от окна.

Если б я мог, не теперь, а лет через пять, умереть за этого человека!

.....

Вечером я навещал Полиньку. У нее лихорадка и головная боль. Мы плакали и целовались... от радости не умирают... Скоро, скоро! Чтоб не затянулась только проклятая моя отставка!

III

От К. А. Сакса к П. А. Залешину

Добрый мой Павел Александрыч, одним холостяком стало более. Опять я одинок, как в былые времена. Уже нет маленькой Полиньки Сакс, осталась княгиня Полина Александровна Галицкая. К ней лучше шло это коротенькое имя: Полинька Сакс.

Я люблю тебя за то, что, прочитавши это письмо, ты не захаешь, не закричишь: чрезвычайное происшествие, неожиданное известие, а скажешь, вероятно: видно, оно так и должно быть, у этого человека мысли не в

разлад с делом.

Я еду за границу: дело встретилось. Там, думаю, долго придется мне прожить. Бюджет мой сокращаю я по-холостому, наполовину, и вследствие того хочу дать тебе поручение. Коли надоест, или нельзя, или лень, так уведомь.

В отсутствие мое возьми главный контроль над моими управляющими: преобразуй их в филантропически-пантагрюэлистском вкусе. Денег мне надо меньше, можно сократить сборы.

Именьице, которое досталось мне от отца, выпусти в обязанные крестьяне, согласно новым положениям[62]. Покопайся сам в законах, мне же, право, некогда.

Я был заботлив, но я служил. Пускай, при твоём надзоре, у моих подданных отрастут такие же животы и растолстеют физиономии, как у твоих крымских переселенцев. На первый раз довольно будет этого.

Коли ворочусь скоро в Россию, к тебе будет первый мой визит. Посетим и оракул de la Dive Bouteille, [63] только не знаю хорошенько, о чем буду я его спрашивать.

ГЛАВА IX

I

*От княгини П. А. Галицкой к т-те
Ан. Красинской*

Ницца, ноября 184 * года.

Я редко пишу к тебе, Annette... и знаю, что ты извинишь меня. От брата ты ведь хорошо знаешь, что мы и где живем. Мы с ним давно обвенчаны, я счастлива, только здоровье мое мало поправилось. После последней моей болезни в Петербурге я, кажется, поторопилась выезжать, а потому до сих пор больна, и больна как-то странно... У меня боль в груди и по временам лихорадка. Это бы еще ничего... только иногда случается, что я совсем одуреваю, целый день брожу как в тумане... Какие-то урывчатые мысли день и ночь бегают в моей голове, а иногда я сижу по целым часам, смотрю на одну какую-нибудь точку и ни о чем не думаю.

Чаще всего я что-то припоминаю: то гре-

зится мне мое детство, то думаю я о первом моем замужестве, и вспоминаю все это как-то странно, бестолково... без горя... без веселости.

Одни только слова вечно вертятся в моей голове, не знаю отчего, давят мне сердце какою-то тяжестью. Тебе писал брат, каким образом прощался с нами Сакс... А!.. Опять сердце мое бьется, бьется, опять звенит в ушах моих: «Помните, князь, при первой ее слезе, при первом ее вздохе — вы человек погибший». Отчего слова эти вечно мне слышатся?

И не знаю отчего, а я плачу. Грудь моя разорваться хочет... а надо прятать эти слезы: за нами глядят два неотступные глаза, а взгляд их так кроток и так спокоен. Опять раздаются около меня слова эти: «при первой слезе ее вы погибли».

Муж мой не наглядится на меня, бросил все свое родство, обожает меня... Я люблю его столько же, только, поверишь ли, мне как-то до сих пор дико его видеть: все еще, видно, я больна и не могу собраться с силами. И странно, когда он сидит у моих ног, целует руки мои, я отчего-то боюсь целовать его, мне ме-

рещится что-то незнакомое, какие-то речи, не идущие к делу. А потом вдруг разом раздается в ушах моих: «Вы берете мою жизнь... я не надеюсь на вас... шаг за шагом буду следить за вами... горе вам, если дитя мое не будет счастливым».

Боже мой! Зачем чудные слова эти меня неумолимо преследуют? Ложусь ли я спать... я поздно засыпаю, мысли мои долго путаются... я что-то припоминаю, припоминаю — и вдруг опять слышу я этот голос, проникающий душу:

«Помните, при первой ее слезе...»

Он слышится мне, слышится... в самом сердце моем говорит этот голос, и чьи-то глаза блестят передо мною, и тихая твердая походка как будто раздается по ковру моей комнаты.

Сакс!.. как странно кажется мне это имя... Сакс здесь. Он уехал из Петербурга... он следит за нами... шаг за шагом следит за нами... он смотрит за мною... боже, успокой его... пошли ему счастье... он велик...

Опять эти слова... опять его глаза... Перо падает из рук, туман стелется на мои мысли...

«Помните, князь, ребенок этот вам не даром достался!»

II

От княгини П. А. Галицкой к т-те Ан. Красинской

Флоренция, февраля 184 * года.

Друг мой Annette, я вижу, что я скоро умру, а мне столько надо рассказать тебе, сделать тебе такие важные просьбы... Я знаю мою болезнь... ты помнишь странные слова, которые мучили меня это время. Они растолковали мне много, много, дали мне жизнь, а вместе с тем я умираю от них; только теперь я знаю почему. Теперь все в жизни открыто для меня, я столько пережила в эти два месяца...

Друг мой, ты не знаешь, что я люблю его всеми силами души моей. Я недавно это узнала: я люблю моего мужа, — не теперешнего: его я жалею, — я люблю его, Константина Сакса. Знаешь ли ты, какое райское наслаждение в первый раз высказать всю любовь мою, написать это обожаемое имя, покрыть его поце-

люями и залить горячими слезами!

Я люблю его и всегда его любила. Только перед этим я не понимала ни его, ни себя, ни жизни, ни любви моей. Десять его слов сорвали завесу со всей моей жизни, разъяснили мне все, к чему в темноте рвалась моя душа. Пусть бог благословит этого человека, который и в разлуке дает жизнь, воскрешает, кончает начатое воспитание...

Я любила его всегда: любила, выходя за него, любила его, когда я целовалась с твоим братом, любила его, изменяя ему. Я любила его, когда раздавались над нами прощальные его слова... только во все то время я любила бессознательно; теперь только я сознала всю мою любовь и на краю гроба счастлива этой любовью, не променяю ее ни на что в мире.

.....

На севере Италии воздух мне больше повредил, чем помог. Грудь моя стала сильнее болеть; к этому прибавилось еще постоянное биение сердца. Мы решились проехать более на юг; князь по целым ночам плакал у моей постели и совсем терялся. Я же утешала его, устроила план поездки в Неаполь и уговори-

ла его остаться на время во Флоренции, зная его слабость к многолюдным местам.

Мы жили здесь более недели. Я начинала чувствовать в себе странную перемену. До сих пор я была совсем равнодушна к природе: мало было мне дела, в Италии я или в России; а с тех пор как болезнь моя усилилась, я сделалась как-то умнее, понятливее до всего, особенно до природы.

Здоровье мое несколько поправилось, мысли стали меньше путаться. Ночью только дела шли по-старому: та же бессонница, те же несвязные воспоминания, та же чудная тоска...

Раз я оставила моего мужа на придворном бале и домой уехала ранее обыкновенного. Мне казалось, что усталость, свежий воздух скоро усыпят меня. И только что вошла я в спальню, тоска, лихорадка обхватили меня. Я села писать письма. Все вокруг спало.

В это время легкий шум послышался за дверь: занавес откинулся, и высокая фигура показалась в отдалении. Тихая, твердая походка, его походка, послышалась в комнате. Руки и ноги мои похолодели, а кровь кину-

лась в лицо. И между тем я улыбалась: это был он, а я начинала уже понимать его.

Сакс стоял передо мною в изящном бальном фраке; глаза его были так же светлы, грудь так же широка.

Он подошел ближе и кротко взглянул на меня.

— Дитя мое, — тихо сказал он, — что ты все хвораешь и задумываешься? Нет ли у тебя горя какого?

Я слышала, как кровь моя подступила к сердцу и колебала его неровными ударами.

Я схватила его руку, прижала ее к сердцу, к губам, к горячим глазам моим, которые не могли плакать...

— Прости меня... — шептала я глухо.

Он думал, что я благодарю его и прошу прощения.

— За что, малютка, в чем? — проговорил он, улыбаясь. — Прощай же, я рад, что ошибся.

Он нагнулся ко мне и поцеловал мою руку.

Я писала к тебе давно, что этот человек, ни до замужства моего, ни после, не целовал моей руки. Была ли это странность, или в том

заклучался какой-нибудь смысл...

И когда губы его в первый раз коснулись моей руки, я вздрогнула, и внутри у меня что-то оторвалось. Я видела, как он повернулся и вышел из комнаты, и, только что заперлась за ним дверь, у меня кровь потекла из горла, и я упала без памяти. То был первый обморок во всю мою жизнь.

Было от чего: этот поцелуй... короткие слова его... участие его... с этой минуты поняла я и его и себя.

Напрасно брат твой спит у моих ног и по глазам моим угадывает мои желания. Я не могу любить его, я не могу понимать его; он не мужчина, он дитя: я стара для его любви. Это он человек, он мужчина во всем смысле слова: душа его и велика и спокойна... я люблю его, не перестану любить его.

Я погубила себя, я не понимала его... но я не виновата. Бог простит мне, потому что я не ведала, что творила. И перед Саксом я чиста вполне; я погубила себя без сознания, как губит себя бабочка на огне, как ребенок по воле взлезает в светлое озеро.

Я далека от раскаяния, и в чем каяться

мне? «Что было, то было», — говаривал Константин, и теперь ясно я понимаю смысл всех речей его. С любовью, со страстью я припомнила всю мою жизнь с ним, растолковала все его речи, как толкует ученый творения любимого писателя.

Создатель мой! Я благодарю тебя за все: за жизнь, за любовь его, за любовь мою! Я не знаю горя и страха смерти: в минуты, страшные для всех людей, я думаю о нем, часы томительной бессонницы сделались для меня часами наслаждения. Это часы любви, часы воспоминания! Я боюсь заснуть, я с жадностью накликаю на себя бессонницу...

.....

Я остановилась на моем обмороке: то был первый припадок страшной болезни, насколько я поняла шептавшихся около меня докторов. Это было начало злой чахотки.

И странно: радость обхватила меня, когда я узнала, что мне скоро умереть. Значит, он переживет меня. При жизни я ничего ему не скажу: прошлого не воротишь. А после моей смерти он заглянет в мое сердце, я сделаю, что он увидит окончание моего воспитания;

он узнает, что я оценила его, что за величайшую жертву я отплатила ему тем, чем только может платить женщина: беспредельною, жаркою любовью.

Чуть наступает ночь, я ложусь в постель, думаю о нем и припоминаю все дела, все слова его... Надумавшись о нем, я сажусь к столу и пишу письмо, которое получит он только после моей смерти.

В этом письме моя исповедь, мое страстное признание, моя благодарность ему, мой экзамен. Это мое первое и последнее любовное письмо.

Окончив дорогое письмо, я кладу его под подушку. Горничная моя знает, что с ним делать. Ей дан конверт с надписью на имя Сакса, в Россию. Если бы я умерла неожиданно, она должна вынуть из-под подушки письмо и отдать его на почту.

На следующую ночь я вынимаю написанное письмо, читаю его... как слабы его выражения, как страшно за один день разрослась любовь моя! Я пишу новое послание, целую эту бумагу, на которую упадут его глаза... Потом я молю бога за него, на коленях прошу

его послать спокойствие Константину, послать ему любовь... Нет, нет, нет! Не надобно новой любви!

Одна мысль меня тревожит: что, если моя Маша забудет отдать письмо или оно пропадет на почте? Прошу тебя, ангел мой, сделай последнюю дружбу твоей Полиньке. После моей смерти осведомься вернее, передала ли Маша мое письмо, о котором я говорила. Напомни ей, напиши, уверься сама. Если оно пропало, повидайся с ним, — вы съедетесь же в Петербург, — покажи ему это теперешнее письмо. Пусть через него он сколько-нибудь заглянет в мою душу, узнает, что я любила его, и опять найдет свою Полю.

Думать, что он не увидит моего письма: мысль эта меня убивает. Там только я говорю языком для него понятным, там только видит он, что ребенок его перед смертью сделался женщиною...

Оно писано слезами и кровью, в нем осталась вся моя душа.

Брату твоему не говори, что я его не любила. Общая ошибка связала нас до конца жизни, и до конца жизни буду я ему послушною

женою. Мне жаль его: он любит меня... пусть неотступные глаза моего Константина не следят за нами, они не разгадают ничего до моей смерти...

Опять эти глаза смотрят на меня, опять голос его звенит в моих ушах, только на этот раз я понимаю его... я обожаю этот голос...

Боже!.. Кровь подступает к моей голове, сердце мое рвется... смерть, смерть идет ко мне... Господи, еще день... еще час жизни... чтоб я могла еще подумать о нем... перечитать мое письмо к нему... там не все еще сказано...

Мне хуже, хуже... Константин, помни обо мне... я люблю тебя...

* * *

Прошло еще два месяца. Весеннее время оживило княгиню Галицкую. Муж ее плакал от радости, лелеял ее, не отходил от нее. Весь город не мог налюбоваться на молодых супругов.

Догадался ли Сакс о чем-нибудь или остался доволен житьем Полиньки, только он выехал из Флоренции. Около года следил он за князем и его женою, шаг за шагом, как выразился он, передавая Галицкому свою Полинь-

ку.

Надо было ему отдохнуть. Он уехал в Россию и поселился в крымском имении Залешина. Только напрасно старался добрый пантагрюэлист откормить своего тощего приятеля: брюхо у Сакса не вырастало, и лицо его не принимало жирной полноты, так приятной взгляду почтенного поклонника Рабле.

В один из тихих июньских вечеров Сакс сидел, задумавшись, на крутой горе, узкою площадкою отделенной от вечно шумящего моря. Сзади его, как на театральном занавесе, раскидывалась длинная перспектива лугов, пересеченных рощами, и полукруглый лес замыкал эту роскошную перспективу. Зонтико-вершинные тополи будто плавали в розовом и прозрачном воздухе.

А под ногами его тихо плескалось море, набегаая на песчаный берег под самые скалы. Дым от проходящего парохода стлался вдали, и где-то замирала тихая песня рыбака.

Толстый камердинер Залешина подошел к Саксу и подал ему письмо с черной печатью и заграничным штемпелем.

Полиньки не было уже на свете. То было

последнее ее письмо, которое писала она и перечитывала по ночам. Что было в нем написано, знали только бог, да Сакс, да сама Полинька...

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Д. его проза публиковалась, как правило, в журналах (исключение — перепечатка повести «Полинька Сакс» в сборнике 1856 г.); вскоре после кончины Д. Н. В. Гербель на средства родственников покойного издал Собрание сочинений в 8 т. (СПб., 1865–1867), куда вошло большинство произведений писателя. В дальнейшем перепечатывалась лишь популярная повесть «Полинька Сакс». Впрочем, за минувшее столетие было издано немало писем Д. разным адресатам (среди них — И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой), а также несколько ценных статей писателя. Лишь в 1983 г. в издательстве «Советская Россия» вышел в свет первый сборник статей Д. «Литературная критика». В настоящем издании, помимо двух ранних повестей, получивших высокую оценку В. Г. Белинского, впервые публикуется многолетний Дневник Д., представ-

ляющий большой историко-литературный интерес.

Племянник писателя В. Г. Дружинин сохранил в довольно полном объеме архив дяди (ныне находится в ЦГАЛИ), что дает нам возможность публиковать Дневник по подлинной рукописи, а также широко использовать другие материалы архива.

Тексты повестей печатаются по прижизненным журнальным публикациям, а Дневник и материалы «Дополнений» — по рукописям ЦГАЛИ, с исправлением явных опечаток и описок. Исправления спорных и сомнительных случаев комментируются в «Примечаниях». Конъектуры публикатора заключаются в угловые скобки; зачеркнутое самим автором воспроизводится в квадратных скобках.

Орфография и пунктуация текстов несколько приближена к современным; не сохраняется архаическое или индивидуально-ошибочное написание слова, если оно не сказывается на произношении (баталион, сватья, впродчем) или если сам Д. допускает варианты написания (лучше и лутше, Александрович и Александрыч). Разнобой при на-

писании фамилий (Трефорт — Трефурт, Крабб — Крэбб) устраняется использованием варианта, более часто встречающегося (Трефорт, Крабб). Однако варианты более отличающиеся друг от друга (типа «осьмнадцать — восемнадцать») не унифицируются.

Редакционные переводы иностранных слов и выражений даются в тексте под строкой с указанием в скобках языка, с которого осуществляется перевод. Все остальные подстрочные примечания принадлежат Д. Подстрочные примечания обозначаются звездочками, а все отсылки к комментариям «Примечаний» — цифрами.

Даты событий в России приводятся по старому стилю, даты за рубежом — по новому.

ПОЛИНЬКА САКС

Впервые — С, 1847, № 12, отд. 1, с. 155–228. Переиздана с некоторыми произвольными исправлениями: *Дружинин*, I, а также в кн.: Для легкого чтения, т. 1. СПб... 1856; отдельно — в серии «Дорожная библиотека», изд. А. С. Суворина. СПб., 1886; в серии «Универсальная библиотека». М., 1914; вошла как единственное произведение Д. в кн.: «Русские по-

вести XIX века 40-50-х годов», т. 2. М., 1952 (подгот. текста и примеч. Б. С. Мейлаха); последнее отдельное издание повести. — М., 1955. Во всех перепечатках журнального текста имеются грубые пропуски и искажения. В нашем издании печатается по первой журнальной публикации.

Первоначально замысел сюжета о семье Саксов вырисовывался у Д. в виде драмы (см. разработку ее замысла в «Дополнениях»). Мы не имеем возможности точно датировать замысел драмы и написание повести, равно как и знакомство с редакцией С. Отрывочные сведения о Д. и «Полиньке Сакс», содержащиеся в письме Белинского к В. П. Боткину от 2–4 декабря 1847 г.: «Оказалось, что это человек 25 лет, а повесть эта написана им три года назад <...> Эта повесть неожиданно прислана нам цензором Куторгою и пришлась кстати» (*Белинский*, XII, 444). С. С. Куторга — цензор С, но кто и когда передал ему рукопись — неизвестно. Н. А. Некрасов писал официальному редактору С. А. В. Никитенко 19 ноября 1847 г.: «...мы сочли за лучшее напечатать в этой книжке «Полиньку Сакс» <...> для заключе-

ния года выведем в публику нового талантлив
вого человека. Куторга эту повесть читал в ру
кописи, на которой есть поправки его ру
кой, — итак, он задерживать не будет»
(Некрасов, X, 88–89).

Черновая рукопись повести хранится в
ЦГАЛИ (ф. 167, оп. 3, № 10, лл. 5–88). Тексту по
вести предшествует «Пролог» на французском
(частично на латинском) языке (л. 3, писар
ская копия) фривольного содержания, явно
не предназначавшийся для печати; он содер
жит прямую ссылку на Рабле: «...comme nous
dient nostre divin maistre Rabelais dans ses
escriptstant immortels et rejouissants» («...как
нам говорит наш божественный мастер Рабле
в своих бессмертных и веселых произведени
ях» — *старофранц.*).

В черновике повесть предварялась двумя
эпиграфами (л. 5): «Il n'y a plus d'enfants. M
me de Stael. Il n'y a d'enfants que les femmes.
Anon<ume>» («Нет больше детей. Мадам де
Сталь. Нет больших детей, чем женщины.
Аноним» — *франц.*).

В печатный текст по сравнению с черно
вой рукописью Д. внесены стилистические и

другие поправки: вместо «Псков» — «***ов»,
вместо Неаполя и мая месяца (в заключитель-
ных строках повести) — Флоренция и июнь.

«Полинька Сакс» имела большой чита-
тельский успех, нашедший отражение и в
журналистике того времени.

Примечания

пантагрюэлист — см. роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532–1552); Дружинин как главные свойства «пантагрюэлизма» выделяет свободную, невозмутимую жизнь на лоне природы и гастрономические удовольствия.

[^^^]

ПОЛЬКА (*нем.*).

[^^^]

Так как ниже романс Дездемоны об иве назван по-итальянски, то речь, очевидно, идет об опере Дж. Россини «Отелло» (1816), шедшей в исполнении итальянской труппы в Петербурге.

[^^^]

4

«Сидя под ивой» (*итал.*).

[^^^]

5

«Молодая девушка с черными глазами»
(франц.).

[^^^]

6

который пишет всегда каракулями (*франц.*).

[^^^]

остротах (*франц.*).

[^^^]

первые романы Жоржа Санда — из них наиболее известны «Индиана» (1832), «Валентина» (1832), «Жак» (1834), романы о страстной, всепоглощающей любви.

[^^^]

при помощи небольшого чревоугодия
(франц.).

[^^^]

моя прекрасная, моя несравненная Аннета
(франц.).

[^^^]

Ни адреса, ни числа в конце письма не оказались.

[^^^]

мой ангел (*франц.*).

[^^^]

«Вы отстали, дитя мое... надо быть на уровне своего времени» (*франц.*).

[^^^]

Св. Цецилия (III в.) — святая католической церкви (день ее памяти — 22 ноября); за принятие христианства была мученически казнена римлянами; считается покровительницей духовной музыки.

[^^^]

Фи (*франц.*).

[^^^]

одетый с иголки (франц.).

[^^^]

мой дорогой ангелочек (*франц.*).

[^^^]

приятельницами (*франц.*).

[^^^]

моя горячо любимая (*франц.*).

[^^^]

первый любовник (*франц.*).

[^^^]

третье жалование — жалование за треть года, т. е. за четыре месяца.

[^^^]

ПОЧТИ ДЪЯВОЛ СО СВОИМ ЛУКАВСТВОМ (*франц.*).

[^^^]

по умеренной цене (*франц.*).

[^^^]

буйное помешательство (*лат.*).

[^^^]

Пхе, пучзат! — распространенное крепкое тюркоязычное выражение, означающее приблизительно: «А, дрянь!».

[^^^]

престиж (*франц., лат.*).

[^^^]

каменноостровские дачи — аристократические дачи на Каменном острове в Петербурге.

[^^^]

ГОТОВ ВЫШИТЬ, КОГДА УГОДНО (*франц.*).

[^^^]

Тибур — древний город близ Рима (ныне Тиволи), известный по находившейся там вилле Горация; Гораций воспевал также упомянутое ниже фалернское вино.

[^^^]

Эльдорадо — легендарная страна в Южной Америке, полная золота и драгоценных камней.

[^^^]

Кларисса — героиня романа С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1748); *Юлия* — героиня романа Ж. Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), идеализированные женские образы.

[^^^]

даром (*лат.*).

[^^^]

Панург (*франц.*).

[^^^]

Панург, герой романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», посетил оракула «дивной (божественной) бутылки», изрекшего пророчество: «пей».

[^^^]

моя маленькая Полинька (*франц.*).

[^^^]

Французский художник Жан Гранвиль стал известен с конца 1820-х гг. едкими карикатурами на социально-политические темы.

[^^^]

собрание — имеется в виду Дворянское собрание.

[^^^]

В дворянской и чиновной среде ценили искусство французского и итальянского театров; русские спектакли воспринимались как «плебейские».

[^^^]

Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Феодор и Елена» (цикл «Песни западных славян», 1834).

[^^^]

В черновой рукописи — город Псков.

[^^^]

Фамилизм — подчеркивает интерес к кругу семейных дел и забот.

[^^^]

«Мопра» (франц.).

[^^^]

Пора обратить наши взоры к небу... Калипсо
не могла утешиться по поводу отъезда...
(франц.).

[^^^]

Но какого черта, сударыня. Но какого черта, сударь! (*франц.*).

[^^^]

Черт возьми! (*франц.*).

[^^^]

Из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября»
(1825).

[^^^]

алгвазилы — испанские судьи и полицейские; ироническое наименование русских чиновников судебного или полицейского ведомств.

[^^^]

между нами (*лат.*).

[^^^]

«Подожди немного» и «Скорбная мать»
(итал., лат.).

[^^^]

Спасибо, мсье Александр (*франц.*).

[^^^]

Цитата из монолога Гамлета («Гамлет, принц Датский» в переводе Н. А. Полевого, 1837).

[^^^]

моя белая розочка (*франц.*).

[^^^]

гидальги — испанские дворяне; иронический намек на якобы донкихотский поступок кн. Галицкого.

[^^^]

Намек на романс на стихотворение А. С. Пушкина «Черная шаль» (1820).

[^^^]

Жак — герой одноименного романа Жорж Санд (1834).

[^^^]

См. главу VII.

[^^^]

См. примеч. 22.

[^^^]

Амадис, Роланд — рыцари, герои средневекового французского эпоса.

[^^^]

петиметр — щеголь, модник, франт.

[^^^]

Черт возьми! Это разбойничий притон
(франц.).

[^^^]

штучные стены — стены с архитектурными членениями.

[^^^]

Имеется в виду указ 2 апреля 1842 г. об обязанных крестьянах, разрешавший «освободить» крепостных без земли.

[^^^]

дивной бутылки (*франц.*).

[^^^]